Ед 22062 Вып. 1.

КАК РАБОТАЛ ГОГОЛЬ

Кооперативное издательство „МИР“

Москва. Арбат, Плотников пер., 10.—Телеф. Г 1-26-03.

В. Г. Короленко. Избранные письма.

Т. I. Путешествия. Ц. в перепл. 3 рубл.
Т. II. Общественные выступления. Ц. в перепл. 7 рубл.
Т. III. Письма к начинающим писателям. Печатается.

В. Г. Короленко. Воспоминания о писателях. Ц. в перепл. 4 р. 20 к.

Переписка **В. Г. Короленко с Н. Л. Коганом.** Ц. 80 к.

С. М. Бонди. Из пушкинских тетрадей. Печатается.

В. В. Вересаев. Спутники Пушкина. Вып. I. Печатается.

Д. Д. Благой. Жизнь и творчество А. С. Пушкина.

В. В. Гиппиус. Гоголь. Жизнь и творчество.

Переписка **А. П. Чехова и О. Л. Книппер-Чеховой.** Под ред. А. Б. Дермана. Печатается.

Переписка **Ант. П. Чехова и Ал. П. Чехова.** Под ред. А. Б. Дермана.

Л. Толстой. Мои воспоминания. Ц. в перепл. 4 р.

Штрайх. Сестры Корвин-Круковские. Изд. 2-ое. Ц. в перепл. 5 р. 10 к.

ль. Русские драматурги. Ц. 3 р. 25 к.

памятникам художественной литературы. Под
Н. Л. Бродского и Н. П. Сидорова.
Л. Бродский. «Евгений Онегин». Ц в перепл.

2. И. Н. Кубиков. «Мать» М. Горького. Изд. 2-ое. Печатается.
3. И. Н. Кубиков. «Железный поток» А. Серафимовича. Ц. 1 р. 20 к.
4. Н. Л. Бродский и Н. П. Сидоров. «Что делать» Н. Чернышевского. Ц. в перепл. 5 рубл.
5. И. Н. Кубиков «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. Ц. 2 р.
6. Л. В. Крестова «Ревизор» Н. В. Гоголя. Ц. 2 р. 20 к.
7. Е. С. Смирнова-Чикина. «Мертвые души» Гоголя. Ц. 2 р. 50 к.
8. А. И. Белецкий. «История одного города» М. Е. Салтыкова.
9. Н. Л. Бр «Капитанская дочка
10. С. Н. Ду и» М. Ю. Лермонтов.

Научная библиотека СПбГУ

1001950632

„КАК РАБОТАЛИ КЛАССИКИ“
РЕДАКТОР СЕРИИ Д. Д. БЛАГОЙ

10 Руб 00 Коп
134

Вып. I

В. ВЕРЕСАЕВ

КАК РАБОТАЛ ГОГОЛЬ

Изд. второе

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „МИР“
МОСКВА—1934

Б II 22062
Вып. 1

ПРОВЕРКА
2007 г.

Сдано в набор 20/III-34 г.
Подписано к печати 15/V-34 г.
Формат бум. 72×110
Печатн. л. 5. Знак. в л. 40.000.
Главлит № 80406. Тираж 5000 экз.
Заказ № 1045

Редактор *А. Б. Дерман.*

Техн. ред. *Л. А. Лурье*

Типография газеты „Правда". Москва, ул. Горького, 48.

Лен. Гос. Ун-т
НАУЧНАЯ
Б[illegible]

ОТ РЕДАКЦИИ

В наше время в связи с повышенным интересом к художественной литературе со стороны самых широких читательских масс, в связи с приходом в литературу новых авторов — рабочих и крестьян-колхозников, вопросы литературной учебы приобретают исключительно важное значение.

Старое идеалистическое представление о писателе, как о некоем жреце, в припадке вдохновения, без всяких усилий, роняющем на бумагу свыше внушенные ему «божественные глаголы», давно отошло в область преданий. Творческие рукописи даже величайших литературных гениев обнаруживают за кажущейся «легкостью» их с о з д а н и й долгий, чрезвычайно сложный, зачастую весьма мучительный процесс с о з и д а н и я, постепенной кристаллизации.

Однако дело не только в т р у д н о с т и писательского труда; существенно, что самый характер литературной работы несомненно меняется в зависимости от классовой принадлежности писателя, от места его в той или иной исторической действительности, наконец, от роли, которую он играет в классовой борьбе своего времени. «Любительство» кн. Вяземского, который слагает стихи в дорожной коляске, ибо работа «за письменным столом» слишком «смотрит ремеслом» — отталкивает его своим профессионализмом; полупрофессиональный характер работы Пушкина («не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»); журнализм Некрасова, поденщина Достоевского, продиктовавшего стенографистке для журнала, «под угрозой неустойки», за 24 дня 10 печатных листов своего «Игрока»; «буржуазность» творческого процесса Золя («работаю я самым буржуазным образом. У меня есть положенные часы: утром

я сажусь к столу, точно купец к конторке, пишу потихоньку, средним числом страницы по три в день») — все это совершенно различные типы творческой работы, связанные с определенной классовой принадлежностью автора, с условиями данной социально-исторической среды.

Если «социальность», классовость влияет даже на внешний характер творческого процесса, с еще большей силой определяет она эстетику автора, его творческие методы, целеустремленность его творческих усилий.

Творческий процесс писателя нашей эпохи, стремящегося стать лицом к лицу с живой жизнью, идущего за нужным ему материалом на новостройку или в колхоз, конечно, не может быть похож на литературную работу писателя-дворянина первых десятилетий XIX века, всячески отгораживающегося от современности,—в минуту своих творческих «снов» «сладко» «забывающего мир» в уединении и тиши своей деревенской усадьбы. Писатель-идеалист и писатель, проникнутый миросозерцанием диалектического материализма, будут не только совсем по-иному «видеть» действительность, но и глубоко различными способами доводить свои восприятия до сознания читателей. Приемы творческого отражения действительности писателем-романтиком, реалистом, натуралистом, символистом — будут всякий раз во многом отличаться друг от друга.

Изучение творческой лаборатории классиков, давших законченные и чрезвычайно разнообразные образцы словесно-художественного мастерства, представляет огромный интерес. Нечего говорить, конечно, что для нас приемы литературной работы классиков должны явиться не столько примером для подражания, сколько материалом для критического освоения и переработки.

I

Оскар Уайльд где-то говорит: «Жизнь крупных писателей на редкость неинтересна: они совершенно выдыхаются в своих книгах, для жизни ничего не остается. Маленькие писатели в этом отношении куда интереснее». Среди неинтересных писательских биографий биография Гоголя выдается своею сугубою неинтересностью и серостью. Внимательнейшим образом проследишь ее,—и воспоминанию совершенно не на чем остановиться. Только и остается в памяти, как Гоголь готовил макароны, да как ломался и капризничал, прежде чем сдаться на упрашивания поклонников прочесть что-нибудь из своих произведений. Бледным, золотушно-вялым призраком проходит Гоголь через жизнь. Никаких общественных исканий, никакого бунтарства даже в ранней юности; никакой страсти, никакой даже самой обыденной любви к женщине; нелюбовь к жизни, брезгливое желание замкнуться от нее, уйти подальше...

Полное «беспроисшествие», говоря языком самого Гоголя.

Но не только жизнь серая и тусклая. Читая биографию Гоголя, мы с изумлением наблюдаем, что в собственной жизни своей величайший наш сатирик проявлял себя точно так, как проявлялись бы выброшенные им в мир на вечное осмеяние Чичиков, Хлестаков, Ноздрев, Манилов. Дела свои Гоголь устраивает с небрезгливою ловкостью Чичикова, пускает в глаза пыль с упоением Хлестакова, завирается совершенно, как Ноздрев, строит сантиментально-фантастические планы с наивностью истого Манилова.

Двадцатилетним молодым человеком Гоголь приезжает в Петербург. Ищет места, нуждается. Выпустил под псевдо-

нимом свою поэму «Ганц Кюхельгартен», где говорит в предисловии, как будто от лица издателей: «Мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта». В журналах жестоко высмеяли и предисловие, и саму поэму. Гоголь бросился по книгопродавцам, отобрал свою книжку и сжег ее. В это время мать прислала ему из полтавской своей деревеньки 1450 рублей, с величайшим трудом ею сколоченные, для внесения в Опекунский совет в качестве процентов за заложенное имение. Гоголь присвоил эти деньги и уехал с ними за границу. Пробыл около месяца в Германии и воротился в Петербург. В покаянном письме к матери он писал:

«Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали. Я слово дал, что больше не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно».

Однако очень скоро опять начинает просить у матери денег. Место он получил, но с недостаточным жалованьем.

«Теперь остается мне спросить вас, маменька: в состоянии вы выдавать мне в каждый месяц по сто рублей? Но, сделайте милость, говорите точную правду. Если это будет не по состоянию вашему, если через это вы принуждены будете отказывать себе в необходимом (как будто он сам не знает, что это так и будет!), — о, в таком случае я решусь пожертвовать всеми выгодами службы, решусь бросить Петербург, где, может быть, я бы составил себе счастие, короче, — все сделаю, на что только возможно решиться, лишь бы не навесть новых огорчений и забот вам!»

Пользуется вспоможениями живущего в Петербурге богатого родственника А. А. Трощинского и пишет о нем матери:

«Всевышний послал мне ангела-спасителя в лице нашего благодетеля, его превосходительства Андрея Андреевича, который сделал для меня все то, что может только один отец для своего сына; его благодеяния и драгоценные советы навеки запечатлеются в моем сердце» и т. д.

А в следующем письме к матери пишет:

«Незадолго перед сим вручил я письмо к вам Андрею Андреевичу, по его требованию, в собственные его руки, незапечатанное; следовательно, вы не подивитесь, если я в нем немного польстил ему. Впрочем, он точно для меня много сделал».

Просит мать высылать ему, если попадутся, всякие древности, старинные стрелы, находимые в реке Псле и т. п. «Сделайте милость, пришлите их. Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи».

В свете приведенных фактов не так уже невероятным представляется и сообщение известного казенного журналиста-доносчика Фаддея Булгарина, опубликованное им через два года после смерти Гоголя и так возмутившее друзей Гоголя, — о том, как молодой Гоголь явился к Булгарину с хвалебною одою в его честь, и как Булгарин определил его на службу... в Третье отделение.

В 1832 году, уже автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь приезжает в Москву — и в подорожной своей делает подчистку: вместо «коллежский регистратор» (один из самых мелких чинов) пишет: «коллежский асессор» (штаб-офицерский чин, которым так гордится Ковалев в гоголевском рассказе «Нос») [1]. И это с тою целью, чтобы под таким чином фигурировать в списке приехавших, публиковавшемся в «Московских ведомостях». Ну, чем не Хлестаков?

Выпускает в свет «Арабески» и, совсем, как мог бы сделать Чичиков, пишет Погодину: «Пожалуйста, напечатай в «Московских ведомостях» об «Арабесках» в таких словах: что теперь, дескать, только и говорят везде, что об «Арабесках», что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (нотабене: до сих пор ни гроша барыша не получено)».

В 1833 году уверяет Пушкина, будто три года назад ему, Гоголю, безвестному молодому человеку 21 года, помощнику столоначальника в департаменте уделов, предлагали профессорскую кафедру в московском университете. Это вроде того, как Ноздрев уверял, что руками поймал за задние ноги зайца.

В 1836 году Гоголь уезжает за границу. Средств у него мало. И вот, через своих влиятельных друзей, он начинает выпрашивать под самыми разнообразными видами у разных царственных особ всяких вспомоществований себе. Он пи-

[1] См. об этом конфиденциальное признание Анненкова Стасюлевичу: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Том III, стр. 327.

шет Прокоповичу: «Узнай у Плетнева, получил ли он от Жуковского что-нибудь, что мне следовало от государыни за поднесение экземпляра моей комедии». Пишет письмо царю с просьбою о назначении ему пенсии и поручает Жуковскому подать письмо. Получает пять тысяч рублей. В 1845 году, по представлению друга Гоголя, А. О. Смирновой, царь назначает ему содержание по тысяче рублей сер. в течение трех лет и т. д.

И вообще дела свои он устраивает с обычною небрезгливостью. В 1842 году Плетнев пишет Гроту: «Пришел ко мне Никитенко и показал письмо из Рима от Гоголя, который рассыпается перед ним в комплиментах, потому что Никитенко цензирует его сочинения. Я краснел за унижение, до которого в нынешнее время доведены цензурою авторы: они принуждены подличать перед людьми... Что, если некогда это письмо Никитенко напечатает в своих мемуарах? Не таковы были Дельвиг и Пушкин».

Вечный приживальщик, Гоголь живет, ничего не платя, у своих друзей и поклонников. В дневнике своем Погодин раздраженно отмечает, что Гоголь живет у него и совершенно не интересуется тем, что ему, Погодину, приходится кормить двадцать пять человек. Гоголь жестоко рассорился с Погодиным; живя в одном доме, они не разговаривают и сообщаются письмами. Однако Гоголь продолжает жить у Погодина. Когда он, наконец, уехал, Погодин писал ему: «Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч». В 1849 году Гоголь пишет графине А. М. Виельгорской: «За содержание свое и житье не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки».

И непреодолимая тяга к великосветским знакомствам. Кроме нескольких старых друзей, теперь почти все его корреспонденты — особы титулованные и сановные: губернаторша Смирнова, граф и графиня Толстые, графини Виельгорские, графиня Сологуб, княжна Репнина, дочь жандармского генерала Балабина и т. д. Друзья с грустью отмечали в письмах к самому Гоголю эту тягу его к знатным домам. А со старыми знакомыми он был холоден. В молодости он был в близких дружественных отношениях с соседкой по их имению А. Ф. Тимченко. «В 1848 году,—рассказывает био-

граф Гоголя Шенрок,—Гоголь обошелся при встрече с ней сухо и неприветливо».

Прекраснодушная вера в людскую отзывчивость — чисто маниловская. В 1846 году Гоголь замышляет новое издание «Ревизора» с написанным им прибавлением «Развязка Ревизора». Поручает сделать сразу два издания — одно Шевыреву в Москве, другое Плетневу — в Петербурге, и на издании пометить: «в пользу бедных». Он убежден, что издания пойдут хорошо, — «особенно когда узнают, с какою целью книга издается». Главным актерам в пьесе, — Щепкину в Москве, Сосницкому в Петербурге, — дает такое поручение: «По окончании пьесы, когда вас вызовут, вы, раскланявшись с публикой, скажите ей, что не угодно ли ей купить «Ревизора», который продается, при выходе из театра, в пользу бедных, по рублю серебром. Кто же пожелает дать больше, тот вручал бы деньги вам самим и покупал бы лично из ваших рук».

Переписка Гоголя, особенно во второй половине его жизни, производит впечатление удручающее. Редко-редко ослепительно яркие взблески, в общем же — какая скука, какая фальшь, какое самообожание! Бесконечные холодные проповеди на божественные темы, старчески-назойливые наставления всем, кто просит и кто не просит. Правильно говорит Тургенев: «О, какую услугу оказал бы Гоголю издатель, если бы из писем, опубликованных после его смерти, выкинул целые две трети или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам. Более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона — в литературе не существует!» И даже критик Аполлон Григорьев, напечатавший в свое время восторженнейшую статью по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», писал, ознакомившись с опубликованной после смерти Гоголя его перепиской: «Одна треть моего уважения к Гоголю уплыла вслед за его перепиской, так искренно разблачающей всю неискренность этой натуры».

II

Все это так. Да и сам Гоголь говорит: «во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке».

Но это только одна сторона дела. Есть другая.

В 1843 году Гоголь пишет из Рима одному из своих друзей, московскому профессору Шевыреву:

«Вследствие устройства головы моей я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня...» И он просит московских своих друзей взять на себя на три или на четыре года все его житейские дела и обеспечить его материально на это время, чтоб он мог окончить «Мертвые души». «Верь, — пишет он Шевыреву, — что я употреблю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений... Вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ни откуда... Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми, не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Много у меня пропало через то времени, за которое не знаю, чего бы не заплатил; я также расчетлив на него, как расчитываю на ту копейку, которую прошу себе. У меня уже давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья... Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы ни было виде были мне даны, я их благодарно приму». И в письме к Жуковскому: «Теперь я живу и дивлюсь сам, как живу, во всех отношениях ничем, и не забочусь о жизни и не стыжусь быть нищим».

В статье «Исторический живописец Иванов» («Выбранные места из переписки с друзьями», XXIII) Гоголь пишет: «Теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. С произведением художника связалось собственное его душевное дело,—явление слишком редкое в мире.... Мои сочинения связались чудным образом с моею душою и моим внутренним воспитанием. В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотоле, — не позабудьте, — единственно доходами с моих сочинений. Все почти

знали, что я нуждался; но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги; а я не в силах был произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насильно написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух-трех месяцев такой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а присоединившиеся к тому недуги нервические и наконец недуги от неуменья никому в свете изъяснить состояние своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба». И в письме к Плетневу он с горечью пишет: «Теперь мне всякую минуту становится понятней, отчего может умереть с голода художник, тогда как кажется, что он может большие набрать деньги».

И мог бы не умереть, и мог бы набрать большие деньги, если бы полегче относился к своему писательскому призванию. Но для Гоголя писательство его было, действительно, великим «душевным делом». Он не мог, — органически не мог, если бы даже хотел, — «халтурить», говоря современным словом. И не только не мог халтурить, а просто не мог даже остановиться на обработке своего произведения, не доведя его до возможных пределов совершенства. Основное требование к себе, от которого никогда не мог уклониться Гоголь: «производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа».

А для этого необходимо спокойствие, необходимо время, отсутствие спешки. Гоголь пишет Аксакову: «Если бы вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку!» — «Всякая фраза, — пишет он цензору Никитенке,— досталась мне обдумываниями, долгими соображениями; мне тяжелей расстаться с ней, чем другому писателю, которому ничего не стоит в одну минуту одно заменить другим».

Взыскательность к себе Гоголя была поистине изумительна. Беранже говорит в своей автобиографии: «ничто в такой степени не просвещает писателя, как пламя его рукописей, мужественно брошенных в печку». Вся творческая

жизнь Гоголя освещена этим благородным пламенем. Еще в молодости он предал сожжению свой роман «Гетман», «потому что сам автор не был им доволен». Уничтожил комедию «Владимир 3-ей степени». Два, повидимому, раза сжег второй том «Мертвых душ» (не считая предсмертного третьего сожжения). И писал по этому поводу:

«Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее... Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным».

Написал он трагедию из запорожской жизни «Выбритый ус». Писал он ее в Вене в 1840 году. И вот как писал: «Я почувствовал, — сообщает он Погодину, — что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О, какая это была радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет, и я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал». Аксакову он в упоении говорил: «Эта пьеса будет лучшим моим произведением».

И вот что дальше случилось. А. В. Никитенко рассказывает в своих записках: «Однажды Гоголь просил Жуковского выслушать вновь написанную им пьесу и сказать о ней свое мнение. Чтение пришлось как раз после обеда, а в это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бороться со своей привычкою, он и теперь, слушая автора, мало-по-малу погрузился в тихий сон. Наконец, он проснулся.

«Вот видите, Василий Андреевич,—сказал ему Гоголь,—

я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика».

«И с этими словами бросил рукопись в тут же топившийся камин».

Когда, при встрече с Гоголем, Аксаков жадно стал его расспрашивать о новой драме, Гоголь только махнул рукой...

Гоголь был очень самолюбив,— даже исключительно самолюбив, полон был самого важного самообожания, чувствовал себя каким-то божеством, призванным изрекать непреложные истины. Это, однако, не мешало ему жадно, настойчиво искать критики самой строгой и беспощадной, потому что выше всякого самолюбия для него стояло совершенство его произведения, и в отзыве самого глупого человека он считал возможным найти что-нибудь для себя полезное. О, как это редко-редко встречается среди писателей! Мне много за жизнь свою приходилось знавать писателей очень крупных. Пока он молод, — он ищет критики, внимательно ее выслушивает. Но вот пришла слава, пришло всеобщее признание, — и критика начинает его только раздражать, глаза становятся скучающими, губы нетерпеливо поджимаются,—и верная жена спешит перевести разговор на посторонние предметы. А вот как Гоголь:

«Вы напрасно негодуете, — пишет он, — на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души»: это имело свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко наружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом писать. В самом деле, если бы я не торопился печатанием рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было явиться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мною были мне нужны, несмотря на то, что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки и этот оскорбительный тон, и эти едкие, проникающие насквозь насмешки! На

дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку».

И это у Гоголя были не слова. Письма его переполнены призывами к друзьям о критике самой жестокой и самой откровенной. «Мне все должно говорить больше, чем кому-либо другому, нужно указывать мои недостатки». — «Сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно». И так без конца. Он при чтении зорко вглядывается в лица слушателей, чутко ловит еле уловимые впечатления. «То, что я увидел в самом молчании их и в легком движении недоумения, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам,— пишет он Аксакову, — то принесло мне уже на другой день пользу, хотя бы оно, принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления... Человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен». С полным правом Гоголь мог сказать о себе: «У меня есть одна добродетель, которая редко встречается на свете и которой никто не хочет узнать у меня. Это — отсутствие авторского самолюбия и раздражительности».

Он с нетерпением выслушивает восторженные похвалы друзей. «Ну, ну! А отрицательные стороны, — что же вы на них не указываете? Был у Гоголя в Москве один знакомый, И. В. Капнист. Л. И. Арнольди передает такой свой разговор с Гоголем.

— Вы вчера, кажется, читали несколько глав из второго тома «Мертвых душ» И. В. Капнисту? — сказал я.

— Читал. А что?

— Я не понимаю, Николай Васильевич, какую вы имеете охоту читать ему ваши сочинения! Он вас очень любит и уважает, но как человека, а вовсе не как писателя! Знаете ли вы, что он мне сказал вчера? Что, по его мнению, у вас нет ни на грош таланта! Несмотря на свой обширный ум, Иван Васильевич ничего не смыслит в изящной литера-

туре и поэзии; я не могу слышать его суждений о наших писателях. Он остановился на «Водопаде» Державина и дальше не пошел. Даже Пушкина не любит; говорит, что стихи его звучны, гладки, но что мыслей у него нет и что ничего не произвел замечательного.

Гоголь улыбнулся.

— Вот что он так отзывается о Пушкине, я этого не знал; а вот что мои сочинения он не любит, это мне давно известно, но я уважаю Ивана Васильевича и давно его знаю. Я читал ему мои сочинения именно потому, что он их не любит и предубежден против них. Что мне за польза читать вам или другому, кто восхищается всем, что я ни написал? Вы, господа, заранее предубеждены в мою пользу, и настроили себя на то, чтобы находить все прекрасным в моих сочинениях. Вы редко, очень редко сделаете мне дельное, строгое замечание, а Иван Васильевич, слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Как светский человек, как человек практический и ничего не смыслящий в литературе, он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз сделает такое замечание, которым я могу воспользоваться. Мне именно полезно читать таким умным, нелитературным судьям. Я сужу о достоинстве моих сочинений по тому впечатлению, которое они производят на людей, мало читающих повести и романы. Если они рассмеются, то, значит, уже действительно смешно, если будут тронуты, то значит, уже действительно трогательно, потому что они с тем уселись слушать меня, чтобы ни за что не смеяться, чтобы ничем не трогаться, ничем не восхищаться.

«Слушая Гоголя, — прибавляет Арнольди, — я невольно вспомнил о кухарке Мольера». (Мольер, как известно, чтоб проверить впечатление от своих комедий, читал их своей кухарке).

Еще в 1835 году по поводу выпущенных Гоголем «Миргорода» и «Арабесок» Белинский отмечал, что Гоголь относится к числу тех художников, которые с каждым новым произведением возвышаются и крепнут. Это так, и в главной мере это обусловливалось строгостью отношения к себе Гоголя. Все уже написанное им его не удовлетворяло, он готов был отказаться от него, чтобы итти вперед и вперед.

В 1833 году он пишет Погодину: «Вы спрашиваете о «Ве-

черах диканьских». Чорт с ними! Я не издаю их (вторым изданием)... Я даже позабыл, что я творец этих вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Да обрекутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня».

Уже автором «Ревизора», по дороге за границу, он пишет Жуковскому: «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек! Львиную силу чувствую в душе своей... Если рассмотреть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которую бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом!» И через год пишет Прокоповичу: «Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа моя. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, я бы благодарил судьбу».

Чернышевский говорит по этому поводу: «Гоголь был одарен орлиным стремлением к неизмеримой высоте; ему все казалось мало и низко, чего достигал он или что создавал он. Укажите мне человека с такою жаждою совершенства, и я вам скажу: он или не создаст ничего или создаст нечто великое, — он или Тантал, или Прометей».

III

По этой беспощадной, несгибающейся «взыскательности» к себе, по этой готовности жертвовать всею личною жизнью для достойного осуществления писательского своего призвания — Гоголь представляет явление, не частое среди писателей.

Правда, подобною же жаждою совершенства горели и некоторые другие писатели. Например, французский романист Флобер. Он тоже совершенно не знал личной жизни. «У ме-

ня нет никакой биографии», – ответил он, когда у него попросили прислать его автобиографию. Все он отдал искусству, вне искусства для него не было жизни, он был подлинным мучеником искусства. Работал он по шестнадцать часов в сутки, ночами не спал, ища одного какого-нибудь слова, которое бы точно выразило оттенок его мысли. Но для Флобера искусство было самодовлеющею целью. Живая жизнь интересовала Флобера лишь постольку, поскольку она являлась материалом для художественного произведения. Вмешивать в искусство вопросы «пользы», общественного служения представлялось ему величайшим опошлением искусства, отвратительнейшим «мещанством». Иногда ему самому становилось жутко от той душевной опустошенности, которая вызывалась этою отдачею всех своих переживаний и порывов на жертву самоценному искусству. Он писал: «Я снова возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор». И все-таки — формальное совершенство художественного произведения было для него наивысшею ценностью, и с глубочайшим убеждением, как аксиому, он высказывает чудовищное положение: «в мире нет ничего истинного, кроме хорошо сделанной фразы».

Гоголь был бесконечно далек от такого идолопоклонства перед искусством, как самоцелью. На писательство свое Гоголь смотрел прежде всего, как на «душевное» свое «дело» и как на общественное служение. Никто до него с такою определенностью и бессомненностью не выдвинул у нас утверждения, что писательство есть общественное служение, и что конечная цель писателя — приносить «пользу».

Пушкин в негодовании восклицал:

На вес
Кумир ты ценишь Бельведерский, —
Ты пользы, пользы в нем не зришь!..
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Гоголь же убежден, что «мы» рождены именно для битв и для пользы. «Вспомни, — пишет он другу, — призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований, на битву мы

Лен. Гос. Ун-т

сюда призваны. А потому мы ни на миг не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва».

И в «Авторской исповеди» он пишет: «Автор, творя творение свое, должен почувствовать и убедиться, что он исполняет тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время также государству своему, как бы он действительно находился на государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены... Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общество близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы вдали и уединении от всех обсудить, как произвести таким образом свое творение, чтобы доказать, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу». Пусть у писателя «картинная живопись в слове, орлиная сила взгляда, возносящая сила лиризма, поражающая сила сарказма», — этого всего для Гоголя еще мало. «Если он, — продолжает Гоголь, — при всех великих дарах этих воспитается, как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, — тогда он выступай на поприще».

В до сих пор еще непрекращающейся борьбе поклонников «искусства для искусства» с приверженцами «искусства для жизни» Гоголь безоговорочно занимает позицию, которая вскоре после него стала главенствующею на фронте русской литературы. Он говорит писателю:

«Писатель! Воспитайся прежде всего как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе все будет невпопад». (Письмо к Жуковскому в 1847 г.).

Вот — другая сторона в Гоголе. И если мы теперь возвратимся к тому, что говорили о Гоголе, как человеке, то

многое представится нам в другом свете. Да, печально, конечно, но так: Гоголь нередко проявлялся в жизни и как Хлестаков, и как Чичиков, и как Ноздрев, и как Манилов. Он и сам признавался, как мы видели, что в нем заключалось собрание всех возможных гадостей в таком множестве, в каком он еще не встречал ни в одном человеке. Однако, может быть, если бы этого не было, Гоголь и не сумел бы дать ни Хлестакова, ни других своих героев. Вот какое любопытное признание делает Гоголь: «Прямо скажу все: все мои последние сочинения — история моей собственной души... Я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался изобразить его в себе в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся... Не думай, однако-ж, после этой исповеди, что я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их».

Чистодушный Плетнев с негодованием пишет о льстивом письме Гоголя к цензору Никитенке. Анненков подробно рассказывает о путях, к которым прибегал Гоголь, чтобы провести сквозь цензуру свои «Мертвые души». «Никогда, может быть, — сообщает он, — Гоголь не употребил в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в этом деле». Но Анненков прибавляет: «Эти меры, конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непорешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств».

Наконец, — о подачках, которые Гоголь получал от правительства. Гоголь нуждался жестоко. Он, уже прославленный автор «Ревизора» и «Мервых душ», часто не знал, чем будет жить завтра. «Я начинаю верить тому, — пишет он Жуковскому, — что прежде считал басней: что писатели в наше время могут умирать с голоду. Если бы мне хоть та-

кой пенсион, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более, что в Италии жить дешевле». За Гоголя хлопотала придворная дама А. О. Смирнова. Шеф жандармов А. Ф. Орлов спросил:

— Что это за Гоголь?

— Стыдитесь, граф! Вы — русский, и не знаете, кто такой Гоголь!

— Что вам за охота хлопотать об этих голых поэтах!— пренебрежительно заметил Орлов.

А сам царь очень удивился, узнав, что «Мертвые Души» написал Гоголь.

— Да разве они его? Я думал, что это Сологуба.

Кто тут больше способен вызвать негодование, — огромный ли писатель, решающийся просить у государства содержания хотя бы церковного дьячка, чтобы иметь возможность закончить свой труд, — или эти важные господа, после долгих хлопот удостаивающие подачки «голого поэта»? А нужно еще иметь в виду, что Гоголь был искреннейшим монархистом, что обращался он за помощью не к ненавидимой им и презираемой силе, а к благоговейно почитаемой власти.

IV

Как работал Гоголь над своими художественными произведениями?

Сначала мы дадим здесь сводку того, что узнаем на этот счет из воспоминаний знавших Гоголя и из собственных его признаний.

Гоголь писал по утрам, — об этом свидетельствует и сам он, и все его наблюдавшие. Иногда, впрочем, бывало, что он работал целые дни напролет. И. Ф. Золотарев, проживавший вместе с Гоголем в Риме в 1837-1838 гг., рассказывает: «Когда Гоголь начинал писать, то предварительно делался задумчив и крайне молчалив. Подолгу молча ходил он по комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл он одну из трех комнат квартиры, в которой жил со мною, отличавшуюся весьма скромными размерами, где и проводил в работе почти безвыходно несколько дней».

Такая сплошная работа, повидимому, была у Гоголя исключением, — по крайней мере, во вторую половину его литературной жизни, о которой мы имеем значительно больше

сведений, чем о первой. Так работал Гоголь, вероятно, в дни того особенного умственного подъема, который обыкновенно называют вдохновением. Так работал он, напр., в Вене над трагедией «Выбритый ус», о чем, как мы видели, он писал Погодину: «Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое стало чутко. О, какая это была радость! Сюжет, который лениво держал я в голове своей, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет, и я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал».

Однако Гоголь не признавал возможным пассивно ждать вдохновения, он считал необходимою систематическую, изо дня в день, работу. Он говорил Ф. В. Чижову: «Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучалась совершенно повиноваться мысли». И гр. В. А. Сологубу, в свое время известному беллетристу, Гоголь постоянно твердил:

— Пишите, поставьте себе за правило хотя два часа в день сидеть за письменным столом и принуждать себя писать.

— Да что же делать, если не пишется! — возражал Сологуб.

— Ничего. Возьмите перо и пишите: «сегодня мне что-то не пишется», «сегодня мне что-то не пишется», и так далее; наконец надоест и напишется.

Очень своеобразна такая особенность Гоголя. «Странное дело, — пишет он в 1839 г. Шевыреву, — я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий, и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро».

Н. В. Бергу Гоголь рассказывал: «Ехал я раз между городками Джансано и Альбано, в июле месяце (повидимому, в 1838 году). Середи дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с биллиардом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю, почему именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением».

Гоголь очень любил путешествовать, дорога была для него всегда самым лучшим лекарством от всех его болезней. Дорога же давала ему и новые замыслы. Он пишет Шевыреву: «Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге».

И в «Мертвых душах» он пишет: «Боже! Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!»

Самый процесс работы Гоголя подробно описан с его слов Н. В. Бергом:

«Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом, через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях и где не хватит места — взять отдельный клочек и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения сло-

га. Между прежних вскочат новые слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего, или хоть пишите другое. Придет час: вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз, — как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художественно законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматривание, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Человек все-таки человек, а не машина».

Этой последующей чистке написанного Гоголь придавал огромное значение и не уставал изменять и дополнять уже как будто оконченное. В 1840 г. он пишет С. Т. Аксакову: «Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое переработываю вовсе».

В августе 1849 года Гоголь прочел тому же Аксакову в подмосковной усадьбе последнего, Абрамцеве, первую главу из второго тома «Мертвых душ» и на следующий день стал настойчиво требовать замечаний. «Но нам, — рассказывает Аксаков, — помешали говорить о «Мертвых душах», он уехал в Москву, и я написал к нему письмо, в котором сделал несколько замечаний и указал на особенные, по моему мнению, красоты. Получив мое письмо, Гоголь был так доволен, что захотел видеть меня немедленно. Он нанял карету, лошадей и в тот же день прикатил к нам в Абрамцево. Он приехал необыкновенно весел или, лучше сказать, светел и сейчас сказал:

— Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, пристрастный ко мне.

«Гоголь прожил у нас целую неделю... Мы просили его прочесть следующие главы, но он убедительно просил, чтоб я погодил. Тут он сказал мне, что он прочел уже несколько глав А. О. Смирновой и С. П. Шевыреву, что сам увидел, как много надо переделать, и что прочтет их мне непременно когда они будут готовы.

«В январе 1850 г. Гоголь прочел нам в другой раз первую главу второго тома. Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал:

— Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине. Поправки, повидимому, самые ничтожные: там одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено, — и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны.

«Оказалось, что он воспользовался всеми сделанными ему замечаниями».

В 1841 году, в Риме, Гоголь диктовал П. В. Анненкову «Мертвые души». Анненков подробно описывает, как работал Гоголь.

«Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удваивал порцию. Это была одна из подробностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь... Почти каждое утро заставал я его в кофейной отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период

тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины:

— Ecco, ladrone (вот тебе, разбойник)!

Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь:

— Как разнежился, негодяй!

И снова начинал вторую половину фразы с тою же силою и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я, вместо продиктованного им слова «щекатурка» употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил:

— Отчего так?

— Да правильнее, кажется.

Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав:

— А за науку спасибо!

Затем он сел попрежнему в кресло, помолчал немного, и опять полилась та же звучная, повидимому, простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что, прежде исполнения моей обязанности переписчика, я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только приговаривал:

— Старайтесь не смеяться, Жюль!

Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений и делал усилие над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине». Когда, по оконча-

нии повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мной и несколько раз спрашивал:

— Какова повесть о капитане Копейкине?

Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении, положил перо на стол и сказал откровенно:

— Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью.

Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом:

— Поверьте, что и другие не хуже ее.

В ту же минуту, однако ж, возвысив голос, он продолжал:

— Знаете ли что — нам до ужина осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия.

По светлому выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Как только повернули мы в глухой переулок, Гоголь принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости я не ошибся тогда».

О чтении главы с Плюшкиным мы имеем свидетельства, относящиеся к гораздо более раннему времени. Очевидно, перед глазами Анненкова проходила одна из очередных чисток и переписок написанного. Сообщение Анненкова, это — единственное, сколько я знаю, свидетельство о диктовке Гоголем своего произведения. Повидимому, Гоголь пресле-

довал при этом и цель проверки самого звучания написанного. Об этом мы находим не одно свидетельство.

Кн. Д. А. Оболенский рассказывает, как осенью 1851 г. Гоголь читал ему и А. О. Россету первую главу второго тома «Мертвых душ». «Все описания природы, которыми изобилует первая глава, были особенно тщательны. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово единственно для гармонического эффекта. Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции (уничтоженной Гоголем перед смертью) они были еще тщательнее отделаны». Когда Гоголь кончил читать, он передал рукопись Оболенскому и Россету и попросил, чтобы они прочли ему вслух некоторые места. Очевидно, Гоголь хотел проверить то же звучание своей речи.

Гр. А. П. Толстой, у которого в Москве жил Гоголь последние годы своей жизни, рассказывал, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнаты, Толстой не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом.

V.

Какого рода были материалы, которыми пользовался Гоголь при писании своих произведений?

Через несколько месяцев по приезде юноши-Гоголя в Петербург он писал матери: «Прошу вас, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян нашних, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать их мне в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими кре-

стьянскими девками, до последней ленты, также нынешнюка
ми замужними и мужиками. Вторая статья: название точнали
и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помнали
те, раз мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким
образом. Об этом можно будет расспросить старожилов. Ещоры
обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейшзра
подробностей. Еще несколько слов о колядках, о Иване КНа
пале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо думала
или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делажрон
Множество носится между простым народом поверий, страшан
ных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч., и прока,
Все это будет для меня чрезвычайно занимательно». Чере
три-четыре недели Гоголь опять писал матери: «Я прошния
вас узнать теперь о некоторых играх карточных: у Па«Оп
филя как играть и в чем состоит он? Равным образом, чтКон
за игра Пашок, семь листов? из хороводных: кор
хрещика, в журавля. Если знаете другие какие, твес
не преминете. У нас есть поверья в некоторых наших хутэти
рах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в кпро
торых участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, удрсто
жите мне которою-нибудь из них». В феврале 1830 г.: «Я тбя
прошу вас собрать несколько сведений, если где-либо услвдо
шите какой забавный анекдот между мужиками в нашем сдет
ле, или в другом каком, или между помещиками. Описуйвсе
для меня также нравы, обычаи, поверья. Да расспросите пмеж
старину, какие платья были в то время у сотников, их жегор
у тысячников, какие материи были известны, и все с подромил
нейшею подробностью: какие анекдоты и истории случалиств
смешные, забавные, печальные, ужасные».

В ответ на эти запросы Гоголь получил из дому, повидчто
мому, немало интересовавших его сведений. До нас дошвре
рукописная тетрадь Гоголя, начатая им еще в Нежине, пто
заглавием: «Книга всякой всячины, или подручная энцикл кан
педия». В нее занесено множество всякого рода украинскигол
поверий, бытовых подробностей и т. п. Перед некоторыми(ви
помечено: «из письма 2 июня», «извлечение из письма 4 мая да
В тетради этой находим много черт, использованных Гогоскс
лем в «Вечерах на хуторе». Напр.: «существует поверье, чтба
ведьмы снимают и прячут звезды». В «Ночи перед Рождесво
ством» читаем: «Ведьма между тем поднялась так высокслу
что одним только пятнышком мелькала вверху. Но где уук
(к

ешнеказывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропа-
ючинали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три
омнили четыре еще блестели». Запись: «Папороть цветет огнен-
гакным цветом только в полночь под Иванов день, и кто успеет
. Ецсорвать его, и будет так смел, что устоит противу всех при-
ейшзраков, кои будут ему представляться, тот отыщет клад».
е КНа этом поверье основан рассказ «Вечер накануне Ивана Ку-
думала». Находим в записях подробное описание игры в «во-
ламрона», в которую играют русалки в «Майской ночи». Запи-
трашсаны объяснения женской одежды: кунтуш, плахта, запас-
прока, — названия, встречающиеся в рассказах Гоголя.

Чера Для повести «Тарас Бульба» Гоголь пользовался сочине-
рошниями по истории, быту и нравам украинского казачества:
Па «Описанием Украины» Боплана, «Историей Руссов» Георгия
, чт Конисского, «Историей о казаках запорожских» кн. Мышец-
ых: кого и др. Но еще больше пользовался Гоголь для этой по-
е, твести украинскими песнями. Вся повесть пропитана духом
кут этих песен, стиль ее совершенно песенный, и текст прямо
в к просится на переложение в былинный стих. Такое, напр., ме-
удр сто: «Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя се-
«Я п бя костистыми руками в дряхлые перси; не одна останется
усл вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Бу-
ем с дет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за
суй всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли
е п между их одного, милейшего всех; но много пройдет через
же город всякого войска, и вечно не будет между ними одного,
дро милейшего всех». Иногда находим в повести прямые заим-
али ствования из народных песен. Рассказывается, напр., о том,
что, кроме «реестровых» казаков, можно было во всякое
вид время, в случае большой войны, набрать казачеству целые
ош толпы добровольцев: «стоило только есаулам пройти по рын-
, п кам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь
икл голос, ставши на телегу: — «Эй, вы, пивники, броварники
ски (винокуры)! Полно вам пиво варить да валяться по запечьям,
рым да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцар-
мая ской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы,
Гог баболюбы! Полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле
чт свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить си-
жде лу рыцарскую! Пора доставать казацкой славы!» Тихонравов
сок указывает, что это место представляет переложение в прозу
е п (конечно, с необходимыми сокращениями) начальных стихов

песни о Коновченке, по тексту, изданному Лукашевичем в его сборнике «Малороссийские и червоннорусские народные думы и песни», — сборнике, бывшем в распоряжении Гоголя

Ой, на славной Украине, кликне, покликне
Филоненко, корсунский полковник,
На долину Черкень гуляти,
Славы войску рыцарства достати,
За веру християнськую одностойно стати:
«Которые козаки, то и мужики,
Не хотят по роле спотикати,
За плугом спины ломати,
Жовтого сафьяна каляти,
Чорного едемана пылом набивати:
Славы бы войску рыцарства достали,
За веру християнськую одностойно стали!»
То есаулы у города ся засылали,
По улицам пробегали,
На винники, на лазники словами промолвляли:
«Вы грубники, вы лазники,
Вы броварники, вы винники:
Годе вам у винницах горелок курити,
По броварнях пив варити,
По лазнях лазень топити,
По грубам валятися,
Товстым видом мух годовати,
Сажи вытерати,
Ходите за нами на долину Черкень погуляти!»

Гоголь в работе широко пользовался своими записными книжками. Чижов рассказывает, как в 1843 году, в Риме, Гоголь просил его поискать в Альбано забытую Гоголем записную книжку, — «вроде истасканного простого альбома». — «Только мне не хотелось бы, — прибавил Гоголь, — чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано все, что я подмечал что-нибудь в обществе». Д-р Тарасенков сообщает, что Гоголь любил узнавать неизвестные ему слова и записывал их в особенные тетрадки, нарочно для того приготовленные. Таких тетрадок им исписано было много. Замечали, что он нередко, выйдя прогуляться перед обедом и не отойдя пяти шагов от дома, внезапно и быстро возвращался в свою комнату; там черкнет несколько слов в одной из этих тетрадок и опять пойдет из дома.

Несколько таких записных книжек Гоголя до нас дошло. Они помещены в шестом томе известного тихонравовского издания сочинений Гоголя. Знакомство с ними производит несколько неожиданное впечатление.

В «Авторской исповеди» Гоголь пишет: «Полное воплощение моих героев в плоть, полное округление их характера совершалось у меня только тогда, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом, — когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши». И вот как раз этого «тряпья», этих мелких бытовых черточек и выражений, которыми так неподражаемо силен Гоголь, в книжках этих до странности мало. Очень только редко встречаются записи в роде таких:

«Аттрибуты комнаты; маленькое в четверть аршина зеркало в рамках из зеркалышек, выложенных мозаикой. Наугольники в углах комнаты и грязный утиральник на гвоздике с узорами, по краям вышитый красными нитками».

«Сорока села на брюхо свинье, но скотина не шевелилась, лежа в луже, ленивым хрюканьем изъявляя неудовольствие от постороннего прикосновения».

Или такие разговоры:

«Начальника над артельщиками выбрали мастера, и на вопрос: — Зачем выбрали? Хорош поведеньем, что ли? — Нет, не хорош.—Не пьет, что ли?—Нет, пьяница.—Умен? — Нет, не умен. — Так что ж он? — Повелевать умеет».

«Разговор рыбаков, тянувших невод. Один: Слышь, давеча щуку в три пуда вытащили. Другой с другого конца: — Сгоните его с того места: оно хвастливо. Первый: — Да что, ведь разве в три пуда щук не бывает? Ведь сюда больших пускали! Второй: — Какое пускали? Попы чорта пускали!»

Подобные сценки и заметки совершенно тонут, как и в упомянутой нами юношеской «Подручной энциклопедии» Гоголя, в страницах записей, имеющих, так сказать, характер осведомительный. Гоголь подробно записывает, как и в чем проявляется деятельность губернатора, вице-губернатора, какие взятки берет губернатор, какие прокурор, чем губернатор стеснен при генерал-губернаторе и т. п. С большою любовью записывает провинциализмы: «Хабалка—бесстыдная женщина, нахальная.—Шибель — выбоины, бугорки. Подъемцы — вилки. Замолаживается — приготовляются на небе тучки для дождика» и т. п. Пословицы: «Не твоей харе клюкву есть: морщиться не умеешь». — «Иль те-

бя куры опели?» (оглупел). — «Чорт по ночам горох молотил на роже». Последняя пословица пущена была Гоголем в работу. В «Мертвых душах», описывая наружность старого повытчика, он говорит: «Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие его черты, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, чорт приходил по ночам молотить горох». Записывает народные названия всевозможных птиц и растений, вообще всякого рода «простонародные» слова: «тарарахнуть», «салазки своротить», «кочкарник», «портянки», «дерюга», «котловина» и т. д. Особенно Гоголь интересуется т. наз. «техническими терминами», употребляемыми в каком-нибудь ремесле или вообще специальности: рыболовными терминами, охотничьими, земледельческими («рожь, пшеница колосятся, когда из трубки показывается колос. Овес мечется, а не колосится», «просо брунеет, — когда начинает краснеть»).

Приведем выборку из подробной записи Гоголя о собачьих мастях, породах и кличках:

«Чистопсовые — гладкие, с шерстью длинною на хвосте и на ляшках, т. е. на черных мясах. Густопсовые — с шерстью длинною по всей собаке. Крымские — с длинными ушами висячими. Брудастая — с усами и торчащею шерстью... Муругая — искрасна-черная, — с черным рылом, половая — желтая, полвопегая — по белому желтые пятна. Статьи: голова — щипец, чтоб длинен и тонок. Достоинство ребер: бочковатость, выпукловатость. Толщина и крепость черных мясов. Хвост называется правйлом. Лапа в комке — сжатая лапа. Клички: Стреляй, Обругай, Скосырь, Черкай, Северга, Касатка, Награда, Пожар».

Вот как использовал Гоголь эти термины при описании посещения Чичиковым и Ноздревым ноздревской псарни: «Вошедши на двор, увидели там всяких собак и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полвопегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Все они, тут же пустив вверх хвосты, зовомые у собачеев правйлами, полетели прямо навстречу гостям... Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных

мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку»... Ноздрев убеждает Чичикова купить собак: — «Я тебе продам такую пару, просто — мороз по коже подирает: брудастая с усами, шерсть стоит вверх, как щетина, бочковатость ребер уму непостижимая; лапа вся в комке — земли не заденет!»

В первоначальной редакции это же место читалось так: «Вошедши на двор, увидели там Разбоя, Разора, Налетку, Красотку, Птицу, Змейку, которые, пустивши мельницами хвосты, побежали во весь галоп к ним навстречу... Осмотрели щенков, — хорошие были щенки. Потом пошли осматривать суку». Купить собак Ноздрев убеждает Чичикова такими словами:—«Ну, так купи собак. Я тебе продам чудную пару: до пятнадцати тысяч мне стоили. То-есть такие собаки, что просто мороз по коже подирает». Описание несравненно бледнее и общее, в Ноздреве не чувствуется черт собачея-специалиста, так ярко выступающих в окончательной редакции.

В общем, рассматривая записи Гоголя в дошедших до нас книжках, мы должны признать, что в них очень мало отзвуков непосредственного изучения Гоголем жизни. Одно дело — подробнейшим образом записать все функции губернаторской власти (что, конечно, также очень важно), другое дело — понаблюдать того же губернатора при отправлении его службы. Одно дело — посидеть вечерок, например, с Сергеем Аксаковым и записать за ним все технические термины, употребляемые рыболовами, и другое дело — самому изучить на практике приемы и увлечения рыболова.

Широкою рукою Гоголь черпал ситуации, выражения, образы, сюжеты из рассказов друзей и приятелей. В гимназии Гоголь был очень дружен с одним из своих товарищей, Г. И. Высоцким. Он имел сильное влияние на первоначальный характер гоголевских сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая «Вечера на хуторе» и «Миргород», на каждом шагу встречали слова, выражения и анекдоты, которыми Высоцкий смешил их еще в гимназии. Много материалов доставил Гоголю знаменитый московский актер М. С. Щепкин. Он сообщил Гоголю анекдот о городничем, которому нашлось место в туго набитой церкви, анекдот на тему: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках» о том, как

Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла з предвестие своей близкой кончины, произошел с бабко Щепкина и передан Гоголю Щепкиным. При встрече с Гого лем Щепкин сказал ему шутя:

— А кошка-то моя!

— Зато коты мои! — отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу.

П. А. Кулиш в «Записках о жизни Гоголя» сообщает: «Известно заподлинно, что в Миргороде, действительно, существовали, — разумеется, под другими именами, — Иван Иванович и Иван Никифорович, поссорившиеся за гусака Они, впрочем, ссорились и мирились неоднократно и нередко езжали в одном экипаже подавать друг на друга жалобы. Они находили удовольствие в том, чтоб их увещевали помириться и вовсе были чужды чувства злобы и вражды».

П. В. Анненков рассказывает, как в первое свое посещение Гоголя, в середине тридцатых годов, в Петербурге, он застал у него среди гостей пожилого человека, который рассказывал о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему и внимательно слушал его повествование. Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего».

Тот же Анненков сообщает о рассказе, давшем Гоголю сюжет для «Шинели». «Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в двести. В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник воротился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном со-

бытии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности в лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслью повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер».

Щепкин и петербургский актер Сосницкий сообщили Гоголю для «Женитьбы» некоторые смешные обычаи купеческих невест.

В черновиках «Женитьбы» находим характерную отметку: «(Подают гостям по рюмке вина. Фекла подносит). Здесь Кочкарев со свахой пикируются острыми словами. Каким образом пикируются, я уже не помню; об этом следует узнать у Щепкина и Сосницкого, — так, как и об обрядах, какие при этом употребляются у купцов. Они могут, пожалуй, посоветоваться об этом с Погодиным, знающим этот быт, и пополнить таким образом эту сцену».

О «Тарасе Бульбе» Пушкин рассказывал Нащокину, что описание степей внушил Гоголю он. Пушкину какой-то знакомый господин, Шаржинский, очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в «Бульбу» описание степи. У Шаржинского Гоголь заимствовал много красок при описании степи, например: степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки.

Гоголь, — как, я думаю, и всякий писатель, — очень ценил то, что называют «сплетнями», — рассказы о мелких происшествиях, не всегда, может быть, даже соответствующие действительности, но ярко характеризующие быт. Он пишет В. О. Балабиной: «Я всегда был большой охотник до сплетней, это для меня такой лакомый кус, с каким не сравнится и то мороженое, какое вы едали у Боюдони».

А. Алексеев рассказывает в своих воспоминаниях: «Служил в Александринском театре небольшой актер О. О. Прохоров, невоздержный любитель рюмочки. Он упоминается Гоголем в «Ревизоре», когда городничий спрашивает квартального: — Где Прохоров? — Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен. — Как так? — Да так: привезли его по утру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился». — Эта сценка вписана была Гоголем на одной из репетиций, когда на оклик

городничего, которого изображал И. И. Сосницкий, вбежал какой-то выходной актер и стал читать роль квартального, а так как на предыдущих репетициях эту роль репетировал Прохоров, то Сосницкий спросил от себя: — «А Прохоров где?» — «Опять запьянствовал...» Гоголю так понравился этот частный разговор, что он тут же вставил его в свою комедию в вышеприведенной редакции».

Очень странное впечатление производит следующее признание Гоголя в «Авторской исповеди»: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше, сравнительно с другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображение, — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого... Воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре».

Гоголь утверждает, что ему предварительно нужна была вся сумма данных, чтоб на основании их,—не воображением, а соображением — создать портрет человека. Это противоречит решительно всему, что мы знаем о Гоголе, и что он в других местах сам говорит о себе. Тут он так писал о себе, потому что преследовал совершенно определенную цель, — убедить читателей присылать ему побольше своих наблюдений, воспоминаний, анекдотов, как необходимый ему материал для создания второго тома «Мертвых душ».

Если бы, действительно, было так, как утверждает здесь Гоголь, то дал бы он очень немного, потому что, как мы еще увидим, он мало знал жизнь и мало имел возможности ее наблюдать. Но зато он в исключительной мере обладал способностью к тому, что Бальзак называет «pénétration rétrospective», — «ретроспективным проникновением», способностью по двум-трем как будто самым незначительным

черточкам воссоздавать весь характер человека. В той же «Авторской исповеди» Гоголь пишет: «В самых ранних суждениях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользали от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то, что передразнить, но угадать человека, т. е. угадать что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей». Пушкин изумлялся как раз «этой способности угадывать человека», которую он заметил в Гоголе. «Я знаток, — пишет Гоголь А. О. Смирновой, — и если проступила уже хоть сколько-нибудь душа наружу, она не скроется от меня, я вижу ее на лице прежде, чем откроются уста говорить». И ей же он пишет: «Узнавал я вашу душу не вследствие каких-нибудь выводов и заключений («соображение»?), а потому, что сам бог вложил в душу мою прекрасное чутье слышать душу: источник многих моих радостей и наслаждений». В неотправленном письме 1847 г. к Белинскому Гоголь прямо говорит о присущем ему «даре ясновидения».

Ряд знакомых Гоголя имели возможность наблюдать эту изумительную его способность к «ретроспективному проникновению», этот его «дар ясновидения».

В 1849 году, летом, кн. Д. А. Оболенский возвращался с Гоголем из Калуги в Москву. Остановились на одной станции пить чай. «Я нашел штрафную книгу, — рассказывает Оболенский, — и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня:

— А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?

— Право, не знаю, — отвечал я.

— А вот я вам расскажу.

«И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно».

А вот что рассказывает Аксаков. Осенью 1839 года Гоголь и Аксаков с дочерью и сыном ехали из Москвы в Петербург. Приехали в Торжок в три часа утра, сильно проголодавшиеся. Гоголь сейчас же заказал знаменитые пожарские котлеты, которыми славился Торжок. «Через полчаса

котлеты были готовы, и одна их наружность и запах возбу-
дили сильный аппетит. Котлеты были точно необыкновенн
вкусны, но вдруг мы все перестали жевать, а начали выта
скивать из своих ртов довольно длинные белокурые волос
Картина была очень забавная. Принялись мы рассматрива
свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы
нашли по нескольку десятков таких же длинных белокуры
волос. Предположения Гоголя были одно другого смешнее
Между прочим говорил он со своим неподражаемым малорос-
сийским юмором, что верно повар был пьян и не выспался
что его разбудили, и что он с досады рвал на себе волосы
когда готовил котлеты; а, может быть, он и не пьян и очень
добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у
него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он
приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями
Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупре-
дил нас, какой ответ мы получим от полового.

— Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда придт
волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перышки или пух

«В самую эту минуту вошел половой и на предложенны
нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, мно-
гое даже теми же словами. Хохот до того овладел нами, что
половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от
удивления».

Рядом с изумительною способностью «ретроспективно
создавать самые сложные характеры по двум-трем подмечен-
ным черточкам Гоголь был совершенно бездарен и не вы-
думчив на «сюжеты». Различные исследователи различно объ-
ясняют причины этой его неспособности, но в установлени
самого факта не расходятся. Тут согласны между собою и
такие, напр., антиподы, как В. Ф. Переверзев и Б. М. Эйхен-
баум. «Не смешной случай, а смешное существование, не
смешные положения, а смешных людей рисует Гоголь в сво-
их произведениях. Гоголевский комизм не комизм приклю-
чений, а комизм типов, не комизм событий, а комизм быта»
(Переверзев). «Композиция у Гоголя не определяется сюже-
том, — сюжет у него всегда бедный, скорее — нет никакого
сюжета, а взято только какое-нибудь комическое (а иногда
даже само по себе вовсе не комическое) положение, служа-
щее как бы только толчком или поводом для разработки
комических приемов» (Эйхенбаум).

Это верно. И какая странность: автор «Ревизора» и «Мертвых душ», создатель Хлестакова, Чичикова, Собакевича, Манилова, — не смог сам придумать сюжета «Ревизора» и «Мертвых душ»! Известно, что тот и другой сюжет были даны Гоголю Пушкиным. Поражающее впечатление производит известное письмо Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 года: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте же милость, дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, — куда смешнее чорта!»

Посмотрите: дайте ему какой-нибудь даже несмешной анекдот, — и выйдет комедия смешнее чорта! Веселые, бойкие птички-образы бесприютной стайкой носятся в воздухе; дай им хоть какое-нибудь дерево, пускай сухое, корявое,— и птички «духом» облепят его, и наполнят ветки заразительно-веселым гамом и щебетом. Как неорганичны все гоголевские сюжеты, как они случайны и нетипичны! Опытные чиновники принимают мальчишку-вертопраха за правительственного ревизора, аферист совершает загадочные сделки на мертвые души, чиновник пугается женитьбы и выпрыгивает от невесты в окно... А не все ли равно? Типичнейшие образы с самым широким охватом можно закрутить вокруг любого сюжета, — он ли важен? Мне лично всегда казалось, что в «Носе» с его нелепейшим и неправдоподобнейшим сюжетом Гоголь просто издевается над серьезным отношением к сюжету. Вот вам майор Ковалев, вот вам цирюльник Иван Яковлевич с супругой, вот вам весь быт петербургский с его штаб-офицершами Подточинными, квартальными и приемщиками объявлений, — хороши? Великолепны! Ну, а не все ли вам тогда равно, какой сюжет будет двигать их поступками? Станут ли все они хоть на иоту типичнее и выпуклее, если сюжет я вам дам самый типичный и правдоподобный?

Или еще — «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Взял, оборвал рассказ на середине и отделался шуткою: дескать, жена-старуха рассказчика употребила вторую половину тетрадки на печение пирожков. А зачем вам конец? Что еще прибавлять к скромненькому Ивану Федоровичу, к его тетушке-гренадеру, к толстяку Григорию Григорьевичу с сестрицей-невестой?

Существенно-важным «для произведения большого и

стройного труда» Гоголь считал «высоко-настроенное и спо
койное состояние», когда художник имеет возможность под
няться выше изображаемой жизни, взглянуть на нее как бы
со стороны, «как на совершенно постороннее для него дело».
В «Авторской исповеди» он пишет: «Почти у всех писате
лей, которые не лишены творчества, есть способность, кото
рую я назову воображением, — способность представ
лять предметы отсутствующие так живо, как бы они был
пред нашими глазами. Способность эта действует в нас толь
ко тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые опи
сываем... Во все пребывание мое в России, Россия у меня в
голове рассеивалась и разлеталась, я не мог никак ее со
брать в одно целое; дух мой упадал, и самое желание знать
ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она сово
куплялась вновь в моих мыслях целою». «О России, — пи
шет Гоголь Плетневу, — я могу писать только в Риме. Толь
ко там она предстает мне вся, во всей своей громаде».

VI.

Когда хорошо знаешь законченное уже произведение
крупного художника и начинаешь изучать неотделанные
первоначальные редакции этого же произведения, то испыты
ваешь странное чувство раздражения и недоумения: ну, как
возможно было так бледно и неуклюже изображать то са-
мое, что знаешь таким прекрасным и стройным? Приходит
даже мысль: так-то, пожалуй, и всякий мог бы написать. Да
мог бы... А почему же не всякий это бледное и неуклюжее
может сделать ярким и стройным? Перед глазами встает ко-
лоссальная работа, проделанная художником, следишь шаг
за шагом, как он, словно по крутому обрыву, медленно, труд-
но поднимается вверх все выше, — и начинаешь понимать
старое изречение, что «гений — это терпение». Начинаешь
понимать, что гений отличается от посредственности столь-
ко же своею одаренностью, сколько беспощадною строго-
стью к себе, неспособностью довольствоваться малым, не-
ослабевающим стремлением работать, работать, пока не до-
стигнет совершенства.

Когда перед живописцем П. А. Федотовым восхищались
простотою, которой исполнена его картина «Вдовушка», он
ответил:

— Да, будет просто, как поработаешь раз со-сто!

И Гоголь говорит в повести «Портрет»: «все непринужденное и легкое у художника достается слишком принужденно и есть плод великих усилий».

Если на законченных произведениях крупных писателей нужно учиться, как писать, то на неотделанных редакциях этих же произведений очень полезно учиться, как не надо писать. Тут художник как будто дает нам наглядный урок, как будто, водя пальцем по строкам, прямо нам говорит: «видишь, — вот это надо выбросить, это сжать, это переделать, как неестественное, здесь нанести еще несколько мазков, чтобы образ стал ярче».

Я приведу здесь несколько образчиков того, как работал Гоголь над написанным. В 1835 году, в сборнике «Миргород», была напечатана повесть Гоголя «Тарас Бульба». Впоследствии он совершенно переработал повесть, и в переработанном виде она появилась во втором томе «Сочинений Николая Гоголя», вышедших в свет в 1842 году. В первой редакции убийство Тарасом сына Андрия и пленение поляками Остапа отделено некоторым промежутком времени: запорожцы тайно снимают осаду польского города, чтоб отбить в пути уведенных поляками пленников, польские войска настигают запорожцев, и в происшедшей битве Остап попадает в плен. Выписываю с некоторыми сокращениями сцены убийства Андрия и пленения Остапа из миргородской редакции, подчеркивая особенно бросающиеся в глаза длинноты и плохие места, выброшенные Гоголем в окончательной редакции.

Тарас видит стоящий в засаде польский отряд, которым предводительствует Андрий, и «с небольшим числом, бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском... Тарас уже бросил и саблю, и ружье, и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести, булавой, усеянной медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрия, чувствовавшего свою душу не совсем чистою. Бледный, он видел, как гибли и рассеивались его поляки; он видел, как последние, окружавшие его, уже готовы были бежать; он видел, как уже некоторые, поворотивши коней сво-

их, бросали ружья. — «Спасите! — кричал он, отчаянно простирая руки: — куда бежите вы? Глядите: он один!» (Естественно ли, чтобы в таком положении сам Андрий не пустился на утек?).

Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными казаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли.

— Нет, ты не уйдешь от меня! — кричал Тарас, настигая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом.

«Отчаянный Андрий сделал усилие бежать, но поздно: ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся: уже никого не было позади его, все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое.

— Что, сынку? — сказал Бульба, глянувши ему в очи.

«Андрий был безответен.

— Что, сынку?—повторил Тарас: — помогли тебе твои ляхи?

«Андрий не произнес ни слова; он стоял, как осужденный.

— Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который ты родился на свет!

«Сказавши это, он глянул с каким-то исступленно-сверкающим взглядом по сторонам.

— Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет! Я тебя породил, я тебя и убью! Стой и не шевелись, и не проси у господа бога отпущения: за такое дело не прощают на том свете!

«Тарас отступил на несколько шагов, снял с плеча ружье, прицелился... выстрел грянул...

«Как хлебный колос, подрезанный серпом, повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

«В это время подъехал Остап.

— Батько! — сказал он.

«Тарас не слышал.

— Батько, это ты убил его?

— Я, сынку!

«Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет они росли вместе, жили пополам.

— Полно, сынку, довольно! Понесем мертвое тело, похороним! — сказал Тарас, который в то время сжал в груди своей подступавшее едкое чувство.

«Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму.

«Труп опустили, засыпали землею, и через минуту уже Тарас размахивал саблею в рядах неприятельских, как ни в чем не бывало. Разница была в том только, что он теперь бился с большим исступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Он, наконец, узнал, кто был виною отступничества его сына, и положил, во что бы то ни стало, взять город... Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести».

Запорожцы отправляются отбивать пленных, их окружают польские войска. Запорожцы, сдвинувшись вокруг своего обоза, успешно защищаются.

«В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостью, отделился немного подалее обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством, и старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми ремнями и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большей частью запорожцев от обоза и ударил в середину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния, во все стороны, действуя и саблею, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием. Каждый видел перед собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь.

Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более от сыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили поля. Наконец, сабельные удары посыпались на него кучею; он грянулся лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытого прахом».

Написано все это по-ученически беспомощно: напыщенно-трафаретные выражения сменяются вялыми, избитыми оборотами. Описание боя дано без всякого настроения и смахивает на серую газетную реляцию. И вот по бледной этой картине еще раз проходит рука мастера. И картина оживает, фигуры становятся естественнее и выпуклее. Тарас не только размахивает саблей и дико кричит, мы чувствуем, что́ он переживает, пробиваясь к окруженному врагами сыну. Оба события, — убийство Андрия и пленение Остапа, — поставлены рядом, отчего усиливается трагическое от них впечатление. Действие разыгрывается на фоне боя, достигшего крайнего напряжения: убит уже Кукубенко, перебиты почти все лучшие бойцы. Казаки, наконец, начинают одолевать. Но вдруг ворота осажденного города распахиваются, из них вылетает полк гусаров и впереди их—Андрий. Изумленный и потрясенный Тарас поручает товарищам заманить его к лесу, казаки скачут гусарам наперерез, Голокопытенко ударяет Андрия саблей плашмя по спине и устремляется к лесу, Андрий — за ним.

«Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настиг нул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен; в один миг пропал, как не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не мог на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью!— сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп.

— Батько, что ты сделал! Это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же: «Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы».

— Погребут его и без нас! — сказал Тарас: — будут у него плакальщицы и утешницы!

И минуты две думал он: кинуть ли его на расхищение волкам-сыромахам, или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было, — как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко: «Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!.. » Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко: «Беда, атаман, новая валит еще сила...» Не успел сказать Вовтузенко, Писаренко бежит бегом уже без коня: «Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевиченко убит; но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи: хотят, чтоб взглянул ты на них перед смертным часом».

— На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы поглядеть еще на них, и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап! Остап! не поддавайся!» кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал чествть первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули и попала в конскую грудь горя-

чая пуля — вздыбил бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника.

«Добре, сынку! Добре Остап!» кричал Тарас: «вот я следом за тобою». А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа, и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап! Остап! не поддавайся!» Но уже одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!» кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. «Эх, Остап, Остап!..» Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи».

Приведу несколько отрывков из «Ревизора», — из первоначального наброска, из редакции, в какой «Ревизор» шел на сцене и из окончательной редакции. Городничий сообщает чиновникам о письме, в котором приятель предупреждает его о приезде в город ревизора. Входит почтмейстер.

Первоначальный набросок. Городничий:— Здравствуйте, Иван Кузьмич! Я нарочно посылал за вами, чтобы сообщить вам очень важную новость. Почтмейстер: — Я слышал уже от Петра Ивановича Бобчинского: он был у меня сегодня в почтовой конторе. Городничий: — Этот болтун успел уже везде побывать! Я не знаю, как вы, Иван Кузьмич, а я чувствую так, как будто мурашки по всему телу... Почтмейстер: — Да что, разве вам никогда не случалось видеть ревизора? Городничий:— Случалось, да знаете, теперь уж черезчур нахватал. Городок таки, нечего сказать, прикрутил изрядно.

Вторая редакция. Городничий: — Здравствуйте, Иван Кузьмич! Я нарочно посылал за вами, чтобы сообщить вам очень важную новость. Почтмейстер: — Я слышал уже от Петра Ивановича Бобчинского. Он был у меня сегодня в почтовой конторе. Городничий:—Ну, что, как вы думаете об этом? Почтмейстер:—А что думаю? Война с турками будет. Городничий: — Нет, нет, совсем не то. Почтмейстер: — Право, война с турками. Это

все французы гадят. Городничий: — Какая тут война с турками! Где тут турки? Тут, просто, нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: меня уведомляет достоверный человек, что именно едет чиновник с тем, чтобы осмотреть в нашем городе все гражданское устройство. Почтмейстер: — А может быть, очень может быть, и это правда. Городничий: — Ну, как вы, Иван Кузьмич? А меня даже немного по коже подирает. Почтмейстер: — Да я и сам чувствую небольшую как будто лихорадку. А вы боитесь? Городничий: — Чего ж бояться! Боязни нет, а так как-то неловко, чорт знает, как неловко! Я, признаться сказать, уж слишком подстриг здешнее купечество и гражданство, так что вряд ли и ножницы такие на свете найдутся, которые бы могли еще что-нибудь захватить; на меня-то они все теперь... так вот бы съели, попадись я только им.

Окончательная редакция. Почтмейстер:— Объясните, господа, что, какой чиновник едет? Городничий: — А вы разве не слышали? Почтмейстер:—Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе. Городничий: — Ну, что? как вы думаете об этом? Почтмейстер: — А что думаю?— воїна с турками будет. Аммос Федорович: — В одно слово! Я сам то же думал. Городничий:—Да, оба пальцем в небо попали! Почтмейстер: — Право, война с турками. Это все француз гадит. Городничий: — Какая война с турками! Просто, нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо. Почтмейстер: — А если так, то не будет войны с турками. Городничий: — Ну, что же, как вы, Иван Кузьмич? Почтмейстер: — Да что я? Как вы, Антон Антонович? Городничий: — Да что я? Страху-то нет, а так немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся; а я вот ей-богу, если и взял с иного, то право без всякой ненависти.

Все лица стали ярче, выпуклее, живее, каждое заговорило своим языком, сразу рисующим весь его характер. «Нет, нет, совсем не то!» Так скажт всякий. «Да, оба пальцем в небо попали!» Так скажет человек с характером городничего. В прежней редакции городничий вяло плетет: «Это уже известно: меня уведомляет достоверный человек, что именно едет чиновник с тем, чтобы осмотреть в нашем городе все

гражданское устройство». В новой редакции городничий рубит коротко, как коротки, наверно, и пальцы у этого бурбона: «Это уже известно: у меня письмо». Только и всего. В прежней редакции почтмейстер деликатно уступает городничему: «а может быть, очень может быть, и это правда». Теперь — моментально берет свое мнение назад: «а если так, то не будет войны с турками». В прежних редакциях— совершенная психологическая невозможность: взяточник откровенно рассказывает на людях, как он до-гола остриг все городское купечество и «гражданство». Совсем так, как в старых трагедиях: коли злодей, так он уж и сам на каждом шагу твердит, что он есть злодей. Напр., Дмитрий-самозванец в трагедии Сумарокова:

Зла Фурия во мне смятенно сердце гложет;
Злодейская душа спокойна быть не может.
Я ведаю, что я нежалостный зла зритель
И всех на свете сем бесстыдных дел творитель.

В окончательной редакции городничий говорит очень осторожно: «если и взял, то, право, без всякой ненависти».

Объяснение Хлестакова в любви к городничихе. В первоначальном наброске оно происходит в присутствии дочери Марии Антоновны и носит совершенно водевильный характер.

Анна Андреевна: — Ах, боже мой! Как это можно! Вы стоите перед нами на коленях. Хлестаков: — Да, сударыня, я к вам чувствую большую любовь, — осчастливьте меня. Я буду самым, самым счастливым человеком. Анна Андреевна: — Ах, боже! Мне право... Я не знаю, куда деваться. Как можно! Да позвольте узнать, к кому больше относятся слова ваши: ко мне или... Хлестаков: — К вам, сударыня! Если вы не дадите мне руки своей, то вы.., не знаете, что я могу сделать. Я застрелюсь! Ей-богу, застрелюсь! Я решительный человек. Анна Андреевна: — Право, я не знаю, что вам и сказать. Я некоторым образом замужем, ведь у меня есть муж... Хлестаков: — Все равно! Если вы не дадите мне руки вашей, то я не могу жить. Право! Ведь мне жизнь копейка. Анна Андреевна: — Ах, боже, мой! Как вы пугаете меня... Ведь я, право, замужем. Хлестаков (вставая и вытирая платком колено):— Ах, да! Ведь вы в самом деле замужем.

Окончательная редакция. Объяснение, конечно, наедине. Анна Андреевна: — Как, вы на коленях?

Ах, встаньте, встаньте! Здесь пол совсем нечист. Хлестаков: — Нет, на коленях, непременно на коленях, я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть. Анна Андреевна: — Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери. Хлестаков: — Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Анна Андреевна: — Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем. Хлестаков: — Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!

«Под сень струй»... Аполлон Григорьев был в бешеном восторге от этого выражения: в трех словах Гоголь сконцентрировал всю напыщенную чепуху Марлинского и Бенедиктова, которая царила в языке тогдашних «страстных любовников». И все объяснение выдержано в этом самом «пламенном» стиле.

Еще один отрывок из «Мертвых душ»,—рассказ об осетре, которого уплел Собакевич на завтраке у полицмейстера. Ранняя редакция: «Гости, потирая руки, приблизились с выражением удовольствия и, выпивши по рюмке, начали каждый, как говорится, обнаруживать свой характер—кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Но Собакевич, оставив без внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал всего осетра, так что гости, когда вспомнили об осетре и подошли к нему с вилками, то увидели, что на блюде лежали только голова и хвост. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж больше не пил, не ел, а только жмурил и хлопал глазами».

Окончательная редакция. «Гости, выпивши по рюмке водки темного, оливкового цвета,—какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати,—приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склон-

ности, налегая, кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставивши без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что, когда полицмейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла» и т. д.

VII.

В творчестве Гоголя мы наблюдаем две крупных струи, резко отличающиеся одна от другой,—приподнятый лиризм и безудержный, вцепчивый смех. Струи эти редко сливаются в одно целое, — как в «Старосветских помещиках» или «Шинели». По большей части они идут отдельно, не сливаясь, а только пересекая друг друга. Характернейшие образчики — в «Мертвых душах»:

«Грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественною властью осветились мои очи... У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак!—кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь, — с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казеный экипаж!—И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

«Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!.. Боже, как ты хороша подчас! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!..»

«Но и друг наш Чичиков почувствовал в это время не

вовсе прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего...» и т. д.

Эта «спайка серьезного с комическим», «резкость контрастов, в связи с резкой искаженностью комических образов», как указывает А. Л. Слонимский, представляют у Гоголя определенный композиционный прием. «Получается ощущение двух противоположных направлений: напряженного патетического подъема и резкого комического срыва. Оба эти направления необходимы друг для друга, взаимно обусловлены: чем выше, порывнее подъем, тем круче линия спуска и резче ее изломы». («Техника комического у Гоголя», стр. 24).

Однако в двух этих областях Гоголь далеко не равносилен. В области смеха он до сих пор остается непревзойденным мастером не только в нашей, но и во всемирной литературе. Редко у кого можно найти такое исключительное изящество смеха, такое отсутствие всякой грубости и перегруза, чем часто грешат и Аристофан, и Плавт, и Рабле, и Свифт, и Мольер, и наш Салтыков-Щедрин. В этом отношении Гоголь ничего не утерял и для нашего времени, нисколько не потускнел и не заржавел, и теперь у него учиться можно совсем так же, как учились современники.

Не то в области лиризма. И здесь Гоголь поднимается иногда до вершин мастерства, — напр. в некоторых лирических отступлениях в «Мертвых душах» (знаменитое начало седьмой главы: «Счастлив путник» или строки о старости в рассказе о Плюшкине), иногда в описаниях природы, напр. в картинах степи в «Тарасе Бульбе», по поводу которых Белинский воскликнул: «чорт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя!» Но в общем, лиризм—самое слабое место Гоголя, он постоянно срывается в напыщенную риторику, тут у него пропадают свои слова и выдвигаются штампы, всякие «дивный», «чудный», «очаровательный» в обилии рассыпаются чувствительные многоточия и восклицательные знаки. Часто прямо поражает полная беспомощность Гоголя там, где дело идет о выражении интимных переживаний, где нередко нас может захватить своим высказыванием даже человек, никогда и не думавший о писательстве.

Встречая новый 1834 год, Гоголь писал, — писал не для печати, а исключительно для самого себя (привожу одно окончание): «О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений!

Ты, от колыбели еще пролетавший со своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесные очи! Я на коленях! Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О, поцелуй и благослови меня!»

Прямо — для актерского чтения написано. Так и видишь, как актер вдохновенно простирает руки вверх, как опускается на колени и низко поникает головой, и шепчет проникновенно: «Я совершу... Я совершу!» В большой восторг может привести зрителей. Но монолог этот — только из театральной пьесы, подлинного чувства в нем нет и следа.

Или еще. В 1839 году, в Риме, на руках Гоголя умер молодой граф Виельгорский, талантливый юноша, к которому Гоголь привязался в совершенно необычной для него степени. Не отходил, ухаживал, не спал ночей напролет. Сохранились записи его тогдашних переживаний, — что-то в роде дневника на нескольких почтовых листках, которые вел Гоголь. Вот отрывок:

— Голова моя тяжела, — сказал он. Я стал его обмахивать веткою лавра. «Ах! как свежо и хорошо!» — говорил он. Его слова были тогда... что они были!.. Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных, этих подлых, этих гадких благ... нет! о них не стоит говорить! Ты, кому попадутся,—если только попадутся, — в руки эти нестройные, слабые строки, бледные выражения моих чувств, — ты поймешь меня. Иначе они не попадутся тебе. Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищ и почестей, эта звеняцая приманка деревянных кукол, названных людьми. О, как бы тогда весело, с какою б злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, еслиб только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение, на лице его!»

Конечно, все это искренно, — мы знаем, Гоголь, действительно, тяжело переживал болезнь и смерть Виельгорского. И все-таки — ни одной искренней ноты, ни одного

идущего из души слова. Напыщенность, риторика, «ветка лавра», озаглавлено: «Ночи на вилле»...

Когда Гоголь описывает что-нибудь красивое, он по ученически боится, как бы это красивое не оказалось недостаточно красивым, устраняет все «низкое», громоздит одну превосходную степень на другую. Нарядны и безжизненны в своей красивости его описания природы, — после Пушкина, Тургенева, Толстого и Чехова их просто скучно читать.

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц; необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее; горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!.. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит: все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине»... и т. д. Вспоминается, что у Чехова начинающий писатель говорит в «Чайке» о беллетристе Тригорине: «У него на плотине блестит горлышко от разбитой бутылки, и чернеет тень от мельничного колеса, — вот и лунная ночь готова. А у меня, — трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом, ароматном воздухе... Как это мучительно!»

Особенно трафаретны и безжизненны образы гоголевских красавиц. Все они на одно лицо.

«Стройная женская фигура с длинною роскошною косою... Это было произведение, которому художник дал последний удар кисти, это была красивица, женщина во всей развившейся красе своей; грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте... Белоснежные зубы, пахучие волосы, благовонные уста...» Это — прекрасная полячка в «Тарасе Бульбе».

«Это было чудо в высшей степени.. Все, что рассыпалось и блистает по-одиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего не достает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми, блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее

руки были для того, чтобы всякого обратить в художника. Одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты ее ног в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить» и т. д. Аннунциата из отрывка «Рим».

«Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами... Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез» и т. д Проститутка в повести «Невский проспект».

Таковы же и все остальные — и Оксана, и Пидорка, и Ганна, и Уленька, — коллекция бонбоньерочных коробок. А вот Толстой, например, не боится описывать Наташу Ростову так: у нее большой рот; «ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки». И однако Толстой умеет сделать Наташу неотразимо очаровательной, и мы верим художнику, что «вино ее прелести ударило в голову князя Болконского». В описании Катюши Масловой в «Воскресении» Толстой все время отмечает ее косящие глаза, и это нисколько не вредит ее пленительности.

Столь же стандартны и безъиндивидуальны портреты и мужчин-красавцев, — Левка с «орлиными очами», Андрия: «ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блестели всею яркостью девственного огня, и, как шелк, лоснился молодой черный ус».

В боязни повредить красивости своих описаний Гоголь иногда совершенно хватает через край, прибегает к гиперболам, вызывающим улыбку. Заметили ли вы, например, сколько весу в богатыре Тарасе Бульбе? Д-ва-д-ц-а-т-ь п-у-д-о-в! Да, двадцать пудов. Конец первой главы: «Бульба вскочил на своего Чорта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст». Такому феноменальному толстяку не с ляхами сражаться, а только показываться за хорошую плату в паноптикуме. Описывая Днепр, Гоголь уверяет: «редкая птица долетит до середины Днепра». На берегах Днепра, как видно, водятся совсем особенные птицы: птицы с других мест долетают при перелетах и до другого берега моря.

Те же гиперболы становятся у Гоголя безукоризненно-уместными, когда величавая торжественность покидает автора, и глаза его загораются смехом. «Половой помахивал бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу». «У Ивана Никифоровича шаровары в таких широких складках, что, если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением». «Другой имеет рот в арку Главного Штаба, но, увы, должен довольствоваться обедом из картофеля».

Тут, как по волшебству, оживают и портреты. Ни одного банального признака, два-три штриха,—и готова физиономия во всех ее характерных особенностях. «Прокурор с весьма черными, густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: «пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человек, впрочем, серьезный и молчаливый». Знаменитое описание Собакевича: «Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему показался весьма похожим на медведя. Для довершения сходства, фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь, и вкось, и наступал беспрестанно на чужие ноги... Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, но просто рубила со всего плеча... и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «живет»! Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь».

Фигуры ходят и движутся, как живые. «Чичиков непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными поклонами, подходил к той или другой дробным, мелким шагом... Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой, в виде коротенького хвостика или на подобие запятой». Он представляется Тентетникову: «Окончив речь, гость, с обворожительною приятностью, подшаркнул ногой, обутой в щегольской лайковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговки и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика».

В проявлениях своих героев Гоголь отмечает такие тонкости выражения лица и интонаций, которые мало бы кто подметил, а когда они подмечены, то кажется: как же было возможно их не подметить?

— А у нас какой лучший город? — спросил Манилов.

— Петербург, — отвечал Фемистоклюс.

— А еще какой?

— Москва, — отвечал Фемистоклюс.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков. — Скажите однако ж...—продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым. — В такие лета и уже такие сведения. Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности!»

Он же, прощаясь с Маниловыми, разговаривает с их детьми:

— Теперь, как приеду, непременно привезу гостинца. Тебе привезу саблю. Хочешь саблю?

— Хочу, — отвечает Фемистоклюс.

— А тебе барабан. Не правда ли, тебе барабан? — продолжал Чичиков, наклонившись к Алкиду.

— Парапан,— отвечал шопотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, я тебе привезу барабан, — такой славный барабан! Этак все будет турр...ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! прощай!

«Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей».

Испуганная жена Чертокуцкого в рассказе «Коляска» будит мужа:

— Вставай, вставай! Вставай скорее! — кричала она, дергая его за руку.

— А? — проговорил, потягиваясь, Чертокуцкий, не раскрывая глаз.

— «Вставай, пульпутик! Слышишь ли? Гости!

— Гости? Какие гости?.. Сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. — Мм... — ворчал он: — протяни, моньмуня, свою шейку! Я тебя поцелую».

Красавцы и красавицы Гоголя все говорят на один ма-

нер, в одинаковом лирически-приподнятом тоне. У каждого из комических героев Гоголя свой особенный, ему одному свойственный язык. Профессор И. Е. Мандельштам в своей книге «О характере Гоголевского стиля» настолько тщательно разработал этот вопрос, что нам остается только привести его наблюдения.

С поразительною рельефностью выступает в языке Гоголя целый мир живых фигур, освещенных ярким светом,— отмечает Мандельштам. — Всякая фраза, произнесенная всяким из его лиц, показывает нам, кроме идеи, во имя которой художник создал их, сумму свойств, темперамент, — с такой выразительностью, до которой не достигали крупнейшие юмористы. Мы как будто слышим голос их, видим всякие их движения. По некоторым фразам можно угадать всего человека.

Один (Хлестаков) произносит ряд предложений без связи, без смысла. Слова не соединяются даже грамматически. Речь его переносит и его, и его слушателей в среду детей, что-то лепечущих, что-то болтающих; иногда мысль как будто просится наружу, но в голове пусто, хоть шаром покати. Весь запас слов его, в которых может смысл отыскаться, исчерпывается какими-нибудь пятью-десятью словами: он умеет только ругнуть, попросить поиграть в карты, кутнуть, обмануть, солгать, — инстинктивно, непроизвольно, бессознательно.

Перед нами другой (Собакевич). Речь его определяет характер совершенно исключительным образом, при помощи подбора двух-трех слов, применяемых ко всем людям без исключения: «вор», «разбойник», «мошенник», «есть один порядочный человек, и тот, если сказать правду, свинья». У него язык поворачивается медленно, уверенно, тяжело; звуки такие, которые не допускают обыкновенного темпа речи, а требуют замедленного: «Гога и Магога», «плечища», «машинища», «а в плечищах силища»,—такие слова могут произноситься звук за звуком, ни один не пропадает в тяжеловесности своей. Ни слова лишнего. Все коротко и ясно.

Иной опять стиль у Манилова. У этого господина приторно-слащавый язык, свидетельствующий об отсутствии всякой мысли. У него «магнетизм души», который он «хотел бы доказать», «храм уединенного размышления», «именины сердца»... «Конечно, другое дело, если бы соседство было

хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы, в некотором роде, можно бы поговорить о любезности, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое..» Что такое совершил Манилов, — незачем знать. Он и без того как на ладони.

Ноздреву говорить некогда,—он вечно действует, а потому и речь его отличается быстротою, разорванностью, отрывочностью; он одним словом хочет выложить целые истории, а в рассказах перескакивает громадные пространства. Мы напрасно будем искать промежуточной дороги и задавать себе вопрос, каким образом переходы мысли совершаются. Из-за слов видны движения; быстрая смена впечатлений выражается быстрыми переходами мысли. Реплики у него всегда мгновенные, вспышками, необдуманно, импульсами.

Коробочка опять ведет свою речь. Это речь тупицы, которая твердит одно и то же, потому что нет доступа никакой мысли, она не может понять того, что ей толкуют. Это язык непроходимого тупоумия.

VIII

Гоголь очень плохо знал русский язык. Школьные его письма пестрят грубейшими ошибками против языка. Он пишет: «не порасскажете ли чего-нибудь нам животрепящего», «целую их сотеро раз», «к празднику зима гораздо увеличится», «он берется на себя доставить некоторые вещи» и т. п. Столь же грубых ошибок полны его и позднейшие письма. Даже в письмах, отделанных Гоголем для печати («Выбранные места из переписки с друзьями»), мы то и дело наталкиваемся на такие выражения: «Всю русскую землю озирает он с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью». «Кажется, будто-бы тысячью глазами глядит он». Вместо «государственные деятели» — «государственные дельцы» и т. п.

Гоголь и сам до конца жизни ощущал эту нетвердость свою в русской грамоте. В 1842 году школьный товарищ Гоголя Н. Я. Прокопович, учитель словесности и очень незначительный поэт, взял на себя присмотр за печатавшимся

в Петербурге собранием сочинений Гоголя. И вот автор «Мертвых душ» пишет учителю словесности: «При корректуре прошу тебя действовать как можно самоуправнее и полновластнее... Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо». Просьбу эту Гоголь мотивирует тем, что будто бы переписчик наделал в рукописи много ошибок. А в 1846 г. Гоголь писал Плетневу: «Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, — первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или, подобно мне, живописать природу».

Но в течение всей своей жизни Гоголь тщательно, упорно изучал русский язык во всех тонкостях и во всех оттенках его слов. Мы уже видели, что он усердно записывал в записные свои книжки всевозможные редкие слова, провинциализмы, технические термины. До нас, кроме того, дошел составленный Гоголем целый рукописный «Сборник слов простонародных, старинных и малоупотребительных». Материалы для этого сборника Гоголь черпал главным образом из этимологического лексикона русского языка, составленного Рейфом. Гоголь даже мечтал сам составить и издать «Объяснительный словарь великорусского языка»,— нечто в роде того, что мы теперь имеем в виде «Толкового словаря» Даля, столь необходимого для всякого писателя.

И вот при таком-то знании языка Гоголь достиг в его области того, чего ни до него, ни после него не смог достичь ни один из коренных русских писателей.

Петр Петрович Петух заказывает повару обед. «И как заказывал! У мертвого бы родился аппетит. — «Да кулебяку сделай на четыре угла, — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. — В один угол положи ты мне щеки осет-

ра, да вязиги, в другой грешневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого... какого-нибудь там того... Да чтоб она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то... пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, провяло бы так, чтоб она вся знаешь, этак разтого, — не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал».—Говоря это, Петух присмакивал и подшлепывал губами... Много еще Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: — «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько!»

Мандельштам замечает по поводу выписанной сценки:

«Эта картинка, изумительная по художественности, переносящая читателя в самую душу заказывающего знатока кулебяки, представляет лишь каплю в море подобных картинок; они изобилуют таким богатством оттенков одного и того же понятия, — и все народны до такой степени, что слышишь их будто непосредственно из уст создавшего слова: «и губами причмокивал», «поджарь», «да дай взопреть», «да сделай», «положи», «запусти», «да пусти полегче», «да исподку пропеки», «чтобы провяло ее», «да обложи», «да проложи», «да подбавь», «да подпусти», — никто еще не пользовался таким запасом народных слов, которыми живописует художник, словно красками на холсте, до осязаемости».

Или еще пример. Чичиков раздумывает о судьбе купленных им у Плюшкина беглых мужиков.

«Но вот уже тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. — «Чей ты?» говорит капитан-исправник, ввернувши тебе, при сей верной оказии, кое-какое крепкое словцо. — «Такого-то и такого-то помещика»,—отвечаешь ты бойко... — «Что ж ты врешь? — говорит капитан-исправник, с прибавкою кое-какого крепкого словца...—«Что ж ты опять врешь?»— говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом... — «А солдатскую шинель зачем стащил?» — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо» и т. д.

Вот каким неисчерпаемым запасом слов обладает Гоголь для обозначения одного и того же понятия.

Заменою одних слов другими он заставляет нас чув-

ствовать самую интонацию и характер говорящего. Судья сообщает городничему, что хотел его попотчевать собаченкою. «У меня завели тяжбу два помещика, и я теперь травлю зайцев на землях и у того, и у другого». В ранней редакции городничий отвечает: «Бог с ними теперь, со всякими зайцами! У меня в ушах только слышно, что инкогнито проклятое. Так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери, и войдет». В последней редакции: «Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы! У меня инкогнито проклятое сидит в голове: так и ждешь, что вот отворится дверь, — и шасть!» Много нужно было таланта, — замечает Мандельштам, — чтобы одним словом «шасть» изобразить и самый акт внезапности, и действие от этой внезапности на виновников; выражением «войдет» цель не могла быть достигнута, вследствие большей отвлеченности его.

Замечательно при этом упорство, с которым Гоголь старался избегать всяких иностранных, не русских слов. Они преимущественно встречаются там, где Гоголь хочет усилить комическое впечатление от рассказа. «Дамы города N. были то, что называют «презентабельны». «Впрочем, дамы были вовсе не интересанки». «Ноздрев захлебнул куражу в двух чашках чаю, конечно, не без рому». «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе» и т. п. Вообще же говоря, Гоголь тщательнейшим образом заменял при переделках, где только это было возможно, иностранные слова русскими. Мандельштам приводит множество примеров. «...сказал Чичиков, сначала несколько озадаченный такою, отчасти резкой характеристикой». Исправлено: «Чичиков не много озадачился таким, отчасти резким определением». «— Да на что? — Ну, уж это мной секрет». Исправлено: «ну, уж это мое дело». Казак «плевал на свое прошедшее и с жаром фанатика предавался воле». Вместо «с жаром фанатика» Гоголь ставит «беззаботно». «Крендель» заменяется «калачом», «пауза» — «молчанием», «аппетитные» части—«возбудительными» частями, «сконфуженный» — «смущенным».

Гоголь любит прибегать к провинциализмам и к малоупотребительным словам, но применяет он их с таким тактом и уменьем, что слово, оживляя речь и делая ее более звучной, совершенно не нуждается в подстрочных объясне-

ниях, чем так часто грешат другие писатели. «Проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик в нанковом сюртуке тарабанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке...» «Прекрасный летний день, окна, открытые напролет, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака». «Все (в деревне, принадлежавшей Собакевичу) было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке». «А Собакевич пришипился так, как будто и не он». «Снарядясь, казаки пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами».

Литературность, далекость от живой речи составляет общий недостаток и общую боль наших писателей. Лев Толстой под конец жизни мечтал о том, чтобы сочинения свои «перевести на русский язык». К языку Пушкина, Тютчева, Тургенева, Достоевского, Чехова неподготовленному читателю нужно долго привыкать. Один только Гоголь, хуже всех их знавший русский язык, сумел достигнуть того, что не сюсюкая, ни на линию не понижая высоты творчества, сделался доступен самому необразованному читателю. В этом отношении Гоголь — самый демократический из всех наших писателей.

IX

ГОГОЛЬ СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАЛ РЕАЛЬНОЙ РУССКОЙ ЖИЗНИ.

(почти невероятное происшествие)

Под таким заглавием С. А. Венгеровым лет двадцать назад была напечатана статья, вызвавшая сенсацию неожиданностью ее утверждений и совершенною их бесспорностью. Венгеров писал: «Автор Ревизора и Мертвых душ, в которых отразилась, говоря установившимся шаблоном, «вся Россия», на самом деле воочию эту самую Россию, можно прямо сказать, никогда не видел. Знал Гоголь только Малороссию и Петербург».

В 1832 году, осенью, Гоголь повез из дому двух своих маленьких сестер в Петербург для определения их в Патриотический институт. Под Курском экипаж их сломался, и

Гоголь был принужден прожить целую неделю в Курске,— «в этом скучном и немом Курске!» — пишет он Плетневу. Вот — единственный случай, когда Гоголь имел возможность наблюдать русский уездный город. Жил он без знакомых, конечно, в гостинице, и навряд ли мог что-нибудь наблюдать, кроме своего трактира, уличных вывесок и городского сада [1]. Кроме того, Гоголь три раза проделал дорогу из Полтавской губернии в Петербург и два раза — из Петербурга в Полтавскую губернию. Обыкновенно спешил. никуда не заезжал и ехал безостановочно. По подсчету Венгерова, итог непосредственного изучения Гоголем русской провинции таков: двадцать семь дней езды и семь дней в Курске до появления «Ревизора» и двадцать дней безостановочной езды в промежутке между «Ревизором» и отъездом в 1836 году за границу, где и были написаны «Мертвые души».

«Не заезжал Гоголь никогда ни к какому русскому помещику,—пишет Венгеров,—не обедал никогда ни у какого Манилова, не видал, как уписывает бараний бок Собакевич, не ночевал у Коробочки, не бывал никогда ни на каком, столь неправдоподобно у него описанном губернаторском балу, не видел, «как пошла писать губерния», не был никогда свидетелем того, как ведут беседу дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях, и т. д., и т. д., и т. д. Ровно ничего из всего этого, столь типичного, по общему представлению, для русской жизни калейдоскопа лиц Гоголь воочию никогда не видел и не наблюдал. Все создал путем рефлексии и художественного комбинирования, либо в основу своей общерусской типизации положил впечатления малороссийские».

Знание русской жизни у Гоголя, действительно, крайне незначительно, на каждом шагу встречаются грубейшие про-

---

[1] Мы имеем реальное доказательство, что в «Ревизоре» Гоголь описывал как раз Курск и курский трактир, — единственный, который он имел возможность наблюдать. В первоначальном наброске комедии Хлестаков сообщает, что едет в Екатеринославскую губернию (в окончательной редакции — в Саратовскую), что в Туле его обчистил в карты пехотный капитан (позднее заменено Пензой), а из слов Осипа узнаем, что им до места «всего треть верстов осталось». Маршрут из Петербурга в Екатеринослав идет через Москву, Тулу и Курск, и Курск лежит точно на одной трети пути от Екатеринослава к Петербургу.

махи как в существенных сторонах быта, так и в его мелочах. По сообщению Аксакова, знающие люди находили, что состав провинциального общества у Гоголя дан совершенно неверно: в «Ревизоре» пропущены стряпчий, казначей и исправник. В «Мертвых душах» тоже ряд существенных неправильностей: председателей двое, полицмейстер лицо ничтожное в губернском городе; крестьяне на вывод продаются семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян (доверенность Коробочки сыну протопопа, доверенность Плюшкина председателю), да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу, и т. п. По поводу «Игроков» знающие люди замечали, что «нынче уж таких штук не употребляют, и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны».

Если быт помещичий и чиновничий все-таки хоть сколько-нибудь был знаком Гоголю, то быт купеческий был ему уж совершенно неведом. Мы нигде не встречаем никаких указаний, чтоб он с ним где-нибудь сталкивался. «Женитьбу» свою он написал, повидимому, исключительно на основании рассказов Сосницкого, Щепкина и, может быть, Погодина. Грубейших промахов в комедии масса. Совершенно невообразимо, чтоб в купеческом быту, полном обрядов и патриархальных условностей, стали играть свадьбу в тот же день, как произошло сватовство,—без сговора, без помолвки, без девишника. Да и священник не имел права венчать людей без предварительного «оглашения» в церкви в течение трех воскресений подряд.

И что за «русские» фамилии,—Яичница, Земляника, Коробочка, Петух, Сквозник-Дмухановский, Добчинский и Бобчинский, Держиморда, Неуважай-Корыто, Пробка, Доезжай-Недоедешь? Откуда столько украинцев в русской глуши?

Да, все это так. Малое знакомство с жизнью, незнание быта... И однако Островский, с его великолепным знанием купеческого быта, целиком как будто вышел из «Женитьбы» Гоголя. Помещичьей жизни Гоголь не знал,—и однако в его Собакевиче, Коробочке, Ноздреве, Плюшкине, генерале Бетрищеве, Петухе больше правды о тогдашней помещичьей жизни, чем в повестях и романах писателей, знавших эту жизнь, как свои пять пальцев. Провинциального чиновниче-

ства тогдашнего Гоголь не знал,—но мы-то через него знаем это чиновничество, как будто сами тогда жили,—начиная с городничего, почтмейстера, кончая Держимордой и кувшинным рылом Иваном Антоновичем.

Был ли Гоголь по существу своего таланта натуралистом, реалистом или фантастом, создававшим образы, очень далекие от реальной жизни,—этого вопроса мы тут разбирать не будем. Но вся сила и фантастических, скажем, гротесков его была в исключительной яркости мелких, совершенно реальных бытовых черт, из которых слагались гротески: круглый подбородок Чичикова, наступающие всем на ноги медвежьи ступни Собакевича, запах Петрушки, засыпанная табаком верхняя губа поветового судьи. Широчайшее знание реальной жизни во всем разнообразии ее «тряпья, которое кружится ежедневно вокруг человека», было для Гоголя необходимо и гораздо нужнее, чем, например, для Гофмана, Эдгара По или нашего Леонида Андреева.

Сам Гоголь очень хорошо сознавал, что жизнь он знает мало, безмерно мучился этим незнанием и вытекавшим из него бессилием. В одном из писем по поводу «Мертвых душ», напечатанном в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь говорит: «Я бы желал побольше критик на «Мертвые души» со стороны людей, занятых делом самой жизни. Со стороны практических людей, как на беду, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота; задели за живое многих и насмешкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами, хоть исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее, авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий человек мог бы мне явно доказать неправдоподобность мною изображенного события приведением двух-трех действительно случившихся дел... Мог бы то же сделать и купец, и помещик, словом—всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышание! Точно, как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то «мертвые души». И меня же

упрекают в плохом знании России! Как будто непременно силою святого духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее,—без научения научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званием писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной, и притом еще принужденный жить вдали от России? Какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель: сами читатели. А читатели отказались обучить меня».

Единственные учители писателя—читатели? Нет! Главный учитель писателя—жизнь. И писатель вовсе не осужден «уже самим званием писателя» на «сидячую, затворническую жизнь». Напротив, звание писателя обязывает его жадно, назойливо, неотклонно изучать живую жизнь, вбуравливаться в ее толщу всеми корешками, не только наблюдать, но, по возможности, и действовать в ней, потому что по-настоящему жизнь познается в действии. Только в таком случае будет плодотворна и затворническая работа писателя в его кабинете, только тогда будет он чувствовать под собою твердую, неувязчивую почву.

Гоголь, как мы видели, был беспощадно требователен к себе, когда сидел с пером в руках у себя за столом. Но к живой, реальной жизни его не тянуло, он брезгливо и застенчиво сторонился ее, был неговорлив, нелюдим, чувствовал себя свободно только в тесном кругу друзей, чуть же входил посторонний,—замыкался в себе и замолкал. Даже в дороге, чтоб не разговаривать со своими случайными спутниками, Гоголь, в большинстве случаев, либо отвертывался от соседа, либо притворялся спящим.

И вот в этом отношении, в смысле непосредственного изучения жизни, требовательность к себе Гоголя была очень невысока. Здесь он не знал той неспибающейся беспощадности, какую предъявлял к себе за письменным столом. Преодолеть свою нелюдимую косность, не уставая плавать и нырять в гуще людской жизни,—к этому заставить себя у Гоголя не было ни сил, ни, главное, охоты. Вот как объясняет он в «Авторской исповеди» причины, по которым ему трудно изучить жизнь. Объяснения до того курьезные, что странно даже их опровергать. Очевидно, Гоголь сам перед

собою старается хоть как-нибудь оправдаться в своей неспособности и неумении подходить к изучению жизни.

«Два раза,—пишет Гоголь,—я возвращался в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело! Среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в Английском клубе. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидать людей посторонних (!); во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотвержения, чтоб из него вырваться». (И это серьезно говорит человек, требующий, чтобы писатель всеми самыми дорогими своими интересами жертвовал писательскому своему призванию!) «Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал... Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь: останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства в городах и деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя б е с т о л к о в щ и н а. Если ж узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего, что ни есть в человеке, от головы до ног».

Одним словом, куда ни кинь, везде клин: никак невозможно самолично изучать жизнь. Если эти растерянные неудомения хоть сколько-нибудь искренни, то приходится заключить, что Гоголь никогда серьезно и не ставил перед собою задачи изучения жизни, никогда не воспитывал себя в этом направлении, не имел никакой практики в деле, для писателя не менее необходимом, чем самая тщательная работа над своими рукописями.

И вот какой выход надумывает Гоголь. В предисловии ко

второму изданию первого тома «Мертвых душ» он помещает такое обращение «к читателю от сочинителя»:

«Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании не находился, но если тебя вразумил бог грамоте и попалась уже тебе в руки моя книга, я прошу тебя помочь мне... В книге этой много описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле. На всякой странице есть, что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом. Как бы хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знают круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, и после прочтения нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и все, что видел сам или что слышал от других подобного тому, что изображено в моей книге, или же противоположного тому,—все бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы ко мне всякий лист, по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им вся книга. Какую бы кровную он оказал мне услугу! Я не могу выдать последних томов моего сочинения до тех пор, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всех ее сторон, хотя в такой мере, в какой мне нужно ее знать для моего сочинения. Не дурно также, если бы кто-нибудь такой, кто способен углубляться в мысль читаемого автора или развивать ее, проследил бы пристально всякое лицо, выведенное в моей книге, и сказал бы мне, как оно должно поступить в таких и таких случаях, что с ним, судя по началу, должно случиться далее, какие могут ему представиться обстоятельства новые, и что было бы хорошо прибавить к тому, что уже мной описано».

Сама по себе идея о таком коллективном сотрудничестве читателей с писателем—идея превосходная и плодотворная. Но во-первых, такое сотрудничество никак не может заменить писателю изучения жизни им самим, а во-вторых—подобная помощь читателя предполагает такую степень культурности и общественной солидарности, какой в то время никак нельзя было ожидать. И Гоголь с грустью сознается в «Авторской исповеди»:

«Я сделал воззвание ко всем читателям «Мертвых душ»,—

воззвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять-шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал, собственно, поправок на «Мертвые души»: мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Я думал, что чтение «Мертвых душ» может расшевелить... Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это за тем,—оправдывается Гоголь,—чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявили изумление тому, что я так жалаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России за тем, чтобы пребывать живее мыслью в России».

И дальше Гоголь отмечает уже приведенную нами выше его особенность, — необходимость отдалиться от предметов, которые он описывает. Пусть так. Но ведь раньше нужно собрать достаточно материала, над которым предстоит работа, только тогда и издали можно что-нибудь увидеть. А если материала нет, то тут мало могут помочь, даже при той гениальной интуиции, какою обладал Гоголь, чужие записки и воспоминания. Поскольку речь идет о нездоровьи Гоголя,—ну, тут, конечно, ничего не возразишь. Но поскольку он уверяет, что «употребляя все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть работу», то приходится признать, что Гоголь пренебрег одним из важнейших средств, могших двинуть его работу,—непосредственным изучением жизни.

И в этом как раз лежала одна из причин неудачи, которая постигла Гоголя со вторым томом его «Мертвых душ». Но была еще и другая причина, более существенная.

X.

В феврале 1852 года Гоголь заболел какою-то загадочною болезнью. Он стал быстро слабеть, сделался беспокоен и задумчив, часто молился и плакал, отвергал всякое пособие, ничего не говорил и почти ничего не ел.

Ночью с 11 на 12 февраля он долго молился один в своей комнате (жил он в это время у графа А. П. Толстого, в его доме на Никитском бульваре). В три часа ночи Гоголь призвал прислуживавшего ему мальчика и спросил его:

— Тепло ли в другой половине дома?

Мальчик ответил:

— Свежо.

— Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться.

И он пошел, со свечою в руке, крестясь во всякой комнате, через которую он проходил. Пришедши, велел открыть трубу как можно тише, чтобы никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик догадался, упал перед ним на колени и сказал:

— Барин! Что это вы? Перестаньте!

Гоголь ответил:

— Не твое дело. Молись!

Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорали углы у тетрадей. Гоголь заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он перекретился, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал.

Так погиб в огне совсем уже, повидимому, готовый к печати второй том «Мертвых душ», над которым Гоголь упорно, подвижнически работал долгие годы. Через две недели после сожжения рукописей Гоголь умер.

Погибло ли под рукою творца великое творение, утерю которого нам приходится горько оплакивать, — или оно с естественной необходимостью должно было погибнуть вследствие сознанной автором внутренней негодности и фальшивости творения?

Придется начать издалека.

Гоголь родился в глухой помещичьей усадьбе Полтавщины. У родителей его было около двухсот «душ» крепостных крестьян и более тысячи десятин земли. Сам Гоголь, однако, помещиком не был. Как только ему удалось стать на ноги, он начал жить самостоятельным трудом, — сначала служил (чиновником в департаменте уделов, учителем в Патриотическом институте, профессором в петербургском университете), потом жил литературным трудом. От своей части имения он отказался в пользу матери и сестер, не только не получал оттуда никаких доходов, но сам,—правда, редко и мало,—помогал матери, хозяйничавшей очень неумело. Так что по собственному своему социальному положению Гоголь скорее принадлежал, подобно Белинскому, к сословию разночинцев со всеми сопутствующими особенностями,—необходимостью зарабатывать пропитание личным трудом, непрочностью заработка, всегдашнею необеспеченностью.

Однако всю свою идеологию Гоголь целиком впитал из недр старосветской помещичьей жизни. И что замечательно: через жизнь свою, полную самого напряженного художественного искания и творчества, эту идеологию свою он пронес в совершенно нетронутом виде, совсем в таком виде, в каком получил ее в раннем детстве. В вопросах общественности, морали, религии великий автор «Ревизора» и «Мертвых душ» до конца жизни стоял совершенно на том же уровне, на котором стояла его наивная и глуповатая мать-помещица. В этих областях оба они говорили на одном языке.

Одна барышня вышла замуж, другой это не удалось. Гоголь глубочайшим образом убежден, что марьяжными делами барышень заведует сам господь-бог, что это он уж так заранее определил,—одной девице быть замужем, другой нет. Конечно, урожай и неурожай—от бога, здоровье от него же. Он даже бодрствует над геморроем Гоголя, определяет, когда послать рабу своему запор, когда, по милости своей, дать разрешение запору.

Мужику, конечно, тем же богом предписано работать на своего барина. В 1846 году в письме к сестре Гоголь настаивает, чтоб она ездила на полевые работы и следила за мужиками. «Ленивому ты должна говорить, что он может нарабо-тать больше, стало быть, грех ему так не делать, что ты ему потому приказываешь и велишь, что бог приказал трудить-ся усердно. Он сказал: «в поте лица трудитесь!», стало быть,

это грех, и с помещика за то взыщется. Расскажи также мужикам, чтоб они слушали приказчика и умели бы повиноваться, несмотря на то, кто ими повелевает, хотя бы он был и худший их, потому что нет власти, которая не была бы от бога. Словом, так говори с ними, чтоб они видели, что, исполняя дело помещичье, они с тем вместе исполняют и божие дело». Через несколько лет Гоголь опять пишет сестрам: «Прошу вас почаще выезжать смотреть самим на посевы и все полевые работы. Если не любите хозяйничать, то, по крайней мере, взгляните. Как бы то ни было, бедные крестьяне в поте лица работают на нас, а мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труды рук их. Это безбожно. Оттого и наказывает нас бог, насылая на нас голод, невзгоды и всякие болезни, лишая даже и скудных доходов. Жестоко наказываются целые поколения, когда приведут себя в состояние белоручек. Все тогда, весь мир идет навыворот, и начинаются казни, хлещет бич гнева небесного».

Кажется, как будто читаешь речи еще не созданного Гоголем типа хозяйственного помещика-святоши, старающегося «душеспасительным словом» прошибить мужика на усердную работу в барскую пользу.

И не только так писал Гоголь. И в жизни он проявлялся типичнейшим барином-помещиком. Когда следовало, бивал своего камердинера Якима. И еще лучше. В 1832 г. Гоголь приехал из Петербурга к себе в Васильевку, чтоб везти в Петербург двух малолетних своих сестер для определения в институт. Возник трудный вопрос: как обходиться девочкам в дороге без горничной? Хорошо было бы, если бы человек Гоголя, Яким, был женат. И тут же Гоголь с матерью порешили: за три дня до отъезда женили Якима на Матрене, горничной сестер. Таким образом,—рассказывает одна из сестер Гоголя в своих воспоминаниях,—«совершенно неожиданно для себя и для всех, Яким отправился в Петербург с женою, а барышни—с горничною, а Марья Ивановна (мать) была очень довольна, что все так устроилось по-семейному». («Русь», 1885, № 26, стр. 6. Ср. О. В. Гоголь-Головня. «Из семейної хроники Гоголей», стр. 6).

И в других бытовых вопросах Гоголь проявлялся подобным же образом. Старшая из его сестер, М. В. Трушковская, овдовела и собиралась вторично выйти замуж. Заботливый брат пишет матери: «Если совет любящего брата имеет над се-

строю какой-нибудь вес, то я бы сказал ей: не менять своего вдовьего состояния на супружество, если только это супружество не представит больших выгод. Вы сказали только, что жених с состоянием, но не сказали, как велико это состояние. Если это состояние немногим больше ее собственного, то это еще небольшая вещь. Девушке восемнадцатилетней извинительно предпочесть всему наружность, доброе сердце, чувствительный характер и для него презреть богатство и средства для существования. Но вдове двадцати четырех лет, и притом без большого состояния, непростительно ограничиться только этим. Она еще молода. Партия ей всегда может представиться».

Да, положительно: Гоголь говорил правду, утверждая, что в своих героях, в их пошлости и душевной мелкости он в большой степени бичевал самого себя, собственную пошлость и мелкость, а может быть даже, — и собственную классовую корыстность?

К политике и ко всякой общественности Гоголь был глубоко равнодушен. Тогдашний Париж с его кипящею общественною жизнью вызывал в Гоголе отвращение. «Жизнь политическая,— пишет он приятелю,— жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, мне не может нравиться. Здесь все политика. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных». Он отдыхает душою в Италии, наслаждается кладбищенскою тишиною Рима и Неаполя, скованных жестоким деспотизмом папы Григория XVI и неаполитанского короля Фердинанда-Бомбы, не видит ужасающего угнетения народа. Если и чувствует нарастание по всей Европе предгрозового революционного электричества, то видит в этом только язву, которая разъедает ничем недовольную Европу.

Общее это жизнеотношение не могло, конечно, не сказаться и на художественном творчестве Гоголя. Художник не в состоянии скрыть от сколько-нибудь внимательного глаза подлинных своих настроений и чувств, даже если бы всячески старался. Хорошо об этом говорит великий американский поэт Уот Уитмен: «В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошл, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтоб во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник или низменно

смотришь на женщину, это скажется в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь».

И вот,—прочтите такую сценку из «Мертвых душ». Зазевавшийся чичиковский кучер Селифан въезжает своею тройкою в шестерню встречной коляски, лошади перепутались. Собрались мужики, кое-как развели лошадей, но лошади встречной коляски закапризничали и не двигались, как их ни хлестал кучер.

«Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый на перерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя-Митяй пусть сядет верхом на коренного. Садись, дядя-Митяй!» Сухощавый и длинный дядя-Митяй взобрался на коренного коня. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было: ничего не пособил дядя-Митяй. «Стой, стой!—кричали мужики:—садись-ка ты, дядя-Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя-Миняй». Дядя-Миняй, широкоплечий мужик с черною бородою, с охотою сел на коренного, который чуть не припнулся под ним до земли.—«Теперь дело пойдет,—кричали мужики.—Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутом вон того, солового,—что он корячится, как корамора?» Но, увидевши, что дело не шло, и не помогло никакое накаливание, дядя-Митяй и дядя-Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю-Митяя, и дядю-Миняя; и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватали, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою».

Что за идиоты!.. Можно совершенно не знать биографии автора, и сказать с полною уверенностью, что сценку эту писал барин-помещик, для которого мужик—головотяп и ротозей, ничего толком не умеющий сделать и не умеющий связать двух слов. Говорить о нем можно только с снисходительно-пренебрежительной улыбкой и ждать в ответ такой же барственно-снисходительной улыбки читателя. «Да, знаете, что уж с этого народа спросишь!» Это, конечно, не мешает барину в лирическую минуту с чувством поговорить о «живом и бойком русском уме-самородке», на то он и патриот.

Выписанная сценка—это во всех «Мертвых душах» самое пространное место, где фигурирует «народ». А ведь действие

романа происходит в самой глубине России, больше, чем на половину—даже в деревне. Но мужика барин-автор просто не замечает. Разве только подивится меткости неприличного слова, которым окрестили мужики Плюшкина, да усмехнется, слушая, как косноязычный встречный мужик объясняет дорогу в Манилозку: «Направо это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то-есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет, никакой здесь и не было». Вот и весь народ в «Мертвых душах». Обвиняют Гоголя еще в том, что в романе его не отразилось в сколько-нибудь достаточной мере крепостное право. В этом, конечно, обвинять его нельзя,—тогдашняя цензура ничего такого не пропустила бы ни в коем случае.

Революционное движение, охватившее в то время лучшую часть русской интеллигенции (Белинский, Герцен, Бакунин, Петрашевский), вызвало у Гоголя художественный отклик, положивший начало длинной серии клеветнически-реакционных романов Лескова, Клюшникова, Авенариуса, Всеволода Крестовского, Болеслава Маркевича и пр.

«В молодости своей,—рассказывает Гоголь во второй части «Мертвых душ»,—Тентетников было замешался в одно неразумное дело. Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не докончивший учебного курса эстетик (намек на Белинского), да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека (видят намек на кружок петрашевцев.—В. В.). Общество было устроено с обширною целью—доставить прочное счастье всему человечеству, от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная; пожертвования собирались с великодушных членов неимоверные. Куда это все пошло, знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежащие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые, от частых тостов во имя науки, просвещения и будущих одолжений человечеству, сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем при-

личных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией...»

Таков был Гоголь. И такого-то вот человека насмешливая судьба наделила даром едкого, всеуничтожающего смеха, способностью одним взмахом сбивать с лиц благородные маски и обнаруживать под ними подлейшие рожи. А так как в тогдашней России мало было недостойного насмешки, так как подлость и пошлость ходили там в самых благородных масках, то, естественно, смех Гоголя явился силой, бившей в самые основные устои жизни. Глубоко-революционную роль гоголевского смеха хорошо обрисовывает один консервативный русский публицист, не так давно умерший В. В. Розанов:

«Самая суть дела и суть «пришествия в Россию Гоголя» заключалась в том, что Россия была или, по крайней мере, представлялась сама по себе «монументальною», величественною, значительною: Гоголь же прошелся по всем этим «монументам», воображаемым или действительным, и смял их все, могущественно смял своими тощими, бессильными ногами, так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная каша... Помните ли вы тот разговор Чичикова с генералом Бетрищевым, где упоминатеся об «Истории генералов двенадцатого года?» Если придвинуть сюда еще «Историю о капитане Копейкине», то оба эти эпизода составят всего несколько страниц великой и грустной поэмы, великой и страшной поэмы; но их впечатление до того неотразимо, что у читающего совершенно ничего не остается от впитанного с детства восторга к Отечественной войне. Труд этого года, страдания этого года и, наконец, п о д л и н н о е в е л и ч и е е г о — куда-то улетучивается. А никакого порицания нет. Нет насмешки, глумления. Страницы, как страницы. Только как-то с л о в е ч к и п о с т а в л е н ы о с о б е н н о. Как они поставлены,—секрет этого знал один Гоголь. «Словечки» у него были какие-то бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезет под череп читателя,—никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок»-словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя какое-то безумие на вас, пока вы не скажете с Гоголем:—«Темно... Как темно в этом мире!..» Тайна Гоголя заключается в совершенной неодолимости всего, что он говорил

в унизительном направлении, мнущем, раздавливающем, дробящем: тогда как против его лирики, пафоса и «выспренностей» устоять было нетрудно. Это последнее было просто «так», веяло вне черт его таинственного гения».

Потому-то Гоголь мог, сколько угодно, выражать в «Выбранных местах из переписки с друзьями» самые мракобесные, строго охранительные мнения. Имя его, тем не менее, сучтилось на знамени всех, стремившихся к беспощадному разрушению начал, защищаемых Гоголем. Гоголя восторженно приветствовал Белинский. Герцен находил, что «никто выше, чем Гоголь, не приподнял позорного столба, к которому он пригвоздил русскую жизнь». Чернышевский заявлял, что давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России,—и именно по плодотворности своего «критического» направления.

Как относился сам Гоголь к этой разрушительной силе своего смеха?

В апреле 1836 года на петербургской сцене впервые был поставлен «Ревизор». Пьеса имела огромный успех. Одни восторженно ее хвалили, другие яростно ругали: доказывали, что пьеса—клевета на чиновничество, что таких бессовестных и наглых мошенников вообще не существует на свете, что следовало бы комедию запретить, что она подрывает основы общества. Гоголь был очень смущен и огорчен таким отношением к его пьесе. Он писал Погодину: «Что против меня уже решительно восстали все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов,—тысяча честных людей сердится, говорит: «Мы не плуты».

Даже благонамереннейший и консервативнейший Погодин был изумлен таким отношением Гоголя к посыпавшимся на него нападкам и писал ему: «Ты сердишься на толки. Ну, как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: «Да нас таких нет!» Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг

цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься! Ну, не смешон ли ты?»

Но Гоголь все свое:

«Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель,—пишет он в ответном письме к Погодину.—Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит? Это говорят мне люди государственные, люди выслужившиеся. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Сказать о плуте, что он плут, считается у нас подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту—значит, в переводе, опозорить все сословие».

Гоголь бросает все и уезжает за границу, чтобы там «размыкать свою тоску». За границей пишет первый том «Мертвых душ», испытывает захватывающие дух восторги творчества. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек,—пишет он Жуковскому.—Львиную силу чувствую в душе своей»... Весь он живет в своем труде. Но есть в душе одно обожженное место, оно все время горит и напоминает о себе: как бы «частного не приняли за общее, случай—за правило», как бы выведение «двух-трех плутов» не зажгло читателей ненавистью к целому строю, делающему возможным процветание этих плутов. Как говорит в его «Театральном разъезде» «очень скромно одетый человек»: «Пусть народ отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от непонимающих требований правительства, от нехотящих ответствовать правительству». И вот перед Гоголем встает задача: как-нибудь нейтрализовать слишком разъедающую едкость своего смеха, за неистовым отрицанием дать некое светлое утверждение.

Приступив к печатанию первой части «Мертвых душ», он пишет Плетневу: «Не судите о «Мертвых душах» по той части, которая готовится теперь предстать на свет. Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится». И Погодину он пишет, посылая отпечатанную первую часть: «Я не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она,

в отношении к ним, все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах». Княжне Репниной Гоголь говорил, что первый том—это грязный двор, ведущий к изящному строению.

Там, когда дойдет дело до этого прекрасного дворца,—там пойдут иные речи, «иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется из облеченной в священный ужас и в блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей» (VII гл. первой части «Мертвых душ»).

Этот колоссальный дворец и должны были представить из себя вторая и третья часть «Мертвых душ», в них должен был загреметь величавый гром других речей, должны были встать во всей красоте положительные стороны тогдашней русской жизни. В «Авторской исповеди» Гоголь пишет: «мне хотелось в сочинении моем выставить и те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо».

По дошедшим остаткам второго тома мы можем судить, где и у кого усматривал Гоголь эти высшие свойства русской природы. Вот энергичный, весь ушедший в приобретательство кулак-помещик Костанжогло, вот непроходимо-добродетельный винный откупщик Муразов, вот благороднейший генерал-губернатор, князь, весь горящий чувством гражданского долга и любви к родине. А. О. Смирновой Гоголь сообщал, что будет еще священник, тоже положительный образ. И—конец венчает дело. Архимандриту Федору Гоголь рассказал, чем должна кончиться вся поэма: Чичиков оживет, возродится к новой жизни, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной, прочной жизни должна кончиться поэма.

Картина пронзающей умилительности: кроткий император Николай, милосердием своим возрождающий к новой жизни прохвоста Чичикова; Клейнмихели, Чернышовы и Бенкендорфы, горящие любовью к стране и высоким гражданским долгом; приобретатели-помещики, винные откупщики и мракобесы-священники, указывающие пути к новой, светлой жизни... Вот кого должен был прославить величавый гром новых речей автора «Мертвых душ».

Приведу выдержку еще из одного письма Гоголя:

Сочинение мое «Мертвые души» долженствует обнять природу русского человека во всех ее силах. Из этого сочинени

вышла в свет одна только часть, содержащая в себе осмеяние всего того, что несвойственно нашей великой природе, что ее унизило. В остальных частях «Мертвых душ» выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своего характера и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Если только поможет бог произвести все так, как желает душа моя, то, может быть, и я сослужу службу земле своей, не меньшую той, какую ей служат все благородные и честные люди на других поприщах. Многое нами позабытое, пренебреженное, брошенное следует выставить в ярко-живых, говорящих примерах, способных подействовать силою. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности».

Знаете, кому это пишет Гоголь? Шефу николаевских жандармов, начальнику Третьего отделения графу А. Ф. Орлову! В понимании положительных сторон русской жизни автор «Мертвых душ» рассчитывает сойтись с российским шефом жандармов и у него испрашивает вспоможения на продолжение своего труда, польза которого, по его соображению, будет ясна и графу Орлову.

Гоголь работал над своим вторым томом упорно, мученически. Писал, оживал надеждою, падал духом, уничтожал написанное, с новой энергией и верой принимался за работу. Все последние десять лет жизни он работал только над этим трудом, только им одним и жил. В нем он видел высочайшее свое призвание, великий долг, не исполнив которого не считал возможным умереть. И ничего не получилось. Это было великим страданием для Гоголя. Нельзя было доставить ему большей боли, как осведомиться, скоро ли появится второй том.

Профессор-психиатр В. Ф. Чиж в своей работе «Болезнь Гоголя» пишет: «Относительно второй части «Мертвых душ» психиатр может сказать весьма немного: ослабление творчества в этом произведении так ясно, что не возбуждает сомнений, и только болезнью можно объяснить это печальное явление».

Несомненно, последние пятнадцать лет своей жизни Гоголь был глубоко болен. Чем,—до сих пор врачи не могут решить. Нам всего более вероятным представляется мнение д-ра Каченовского, что Гоголь страдал тяжелою хронической

малярией. Во всяком случае, болел Гоголь сильно и часто, работал трудно. Однако, в тех частях второго тома, где звучит прежний гоголевский смех, и образы его обладают совершенно прежнею силою. Генерал Бетрищев, Петр Петрович Петух, Кашкаров достойны стать рядом с самыми яркими образами первого тома, несравненный Чичиков во втором томе нисколько не потускнел и наново пленяет нас своею ловкостью почти военного человека и фраком наваринского дыма с пламенем. Несомненнейшее ослабление творчества мы замечаем только там, где Гоголь берется изображать показательных «хороших людей»,—Уленьку, Костанжогло, Муразова, генерал-губернатора. И над ними-то, конечно, Гоголь больше всего мучился, от их фальшивости приходил в отчаяние, их тщетно пытался оживить всеми силами своего гения. Сидел, писал, писал, рвал написанное, опять писал. Мог ли бы он облечь их в плоть и кровь, мог ли бы заставить засветиться героическим светом, если бы даже был здоров, если бы способен был гореть молодым вдохновением, каким горел в лучшую пору творчества? Конечно, не мог.

В знаменитом своем письме по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский писал Гоголю: «Если вашу книгу приняли за хитрую, но чересчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто земной цели,—в этом виноваты только вы... Предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно—покойно, да, говорят, и выгодно для вас). Замечу только одно: постигает человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем религиозной мании, он тотчас же земному богу подкурит более, нежели небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества».

Обвинения Белинского в этом пункте были безусловно несправедлины. У нас нет оснований сомневаться в субъективной искренности Гоголя. Добивайся он выгод от начальства, ему незачем было бы так мучиться и биться над продолжением «Мертвых душ». Требования начальства не были высоки, оно с восторгом принимало даже лубочно-патриотические драмы Кукольника и Полевого,—одобрило бы, конечно, и любую «халтуру» Гоголя. Не для начальства старался Гоголь, добиваясь жизненности и художественной увлекательности

образов положительных своих героев. Это было, действительно, его «душевным делом», было гражданским подвигом, совершить который Гоголь считал себя призванным.

Но тем хуже для Гоголя. Объективно он целиком старался работать на пользу дворянско-чиновничьего сословия и опиравшегося на него царского самодержавия, для них он старался обломить острие у самого сокрушительного своего оружия—смеха, для них пытался неистовые свои насмешки и издевательства сменить на гимны и акафисты. Это ему не удалось. И в этом была его казнь. Над этою ношею обломал себе крылья его благородный гений и, вместо взлета ввысь, в беспомощных судорогах пополз по земле. Гоголь это видел, но причины не понимал, и в отчаянии бросил в огонь опостылевший труд, над которым подвижнически работал долгие годы.

Конечно, Гоголь был тяжело болен; конечно, в последние годы работал трудно. Но обессилело его творчество не потому, что он уже не в состоянии был рисовать Собакевичей, городничих и купцов Абдулиных, а потому, что Собакевича он пытался перерядить в Костанжогло, городничего—в благородного генерал-губернатора-князя, Абдулина—в смехотворно-добродетельного винного откупщика Муразова. Этого не смог бы сделать и гений из гениев в самом буйном расцвете творчества.

Лен. Гос. Ун-т
НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. Горького

11. Л. П. Гроссман. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.
12. А. А. Сабуров. «Повесть» Гоголя.
13. К. Б. Бархин. «Поэмы и лирика» М. Ю. Лермонтова.
14. Н. Л. Бродский. «Отцы и дети» И. С. Тургенева.
15. Л. В. Ефремин. «Поэмы» Демьяна Бедного.

Как работали классики. Серия книг под ред. Д. Д. Благого:

1. В. В. Вересаев. «Как работал Гоголь». Изд. 2-е. Ц.
2. Н. С. Ашукин. «Как работал Некрасов». Ц. 1 р. 60 к.
3. А. Г. Горнфельд. «Как работали Гете, Шиллер и Гейне». Ц. в перепл. 4 р.
4. С. М. Бонди. «Как работал Пушкин»
5. Н. Л. Бродский. «Как работал Тургенев».
6. А. Б. Дерман. «Как работал Чехов».
7. Н. К. Гудзий. «Как работал Л. Н. Толстой».
8. С. Н. Дурылин. «Как работал Лермонтов». Ц. 2 р. 10 к.
9. Н. Ф. Бельчиков. «Как работал Достоевский».
10. Л. С. Утевский. «Как работал Гончаров».

А. И. Белецкий. Маркс, Энгельс и история литературы. Ц. 1 р. 60 к.

И. М. Нусинов. Проблемы социалистической литературы.

Искусство и литература в марксистско-ленинском освещении. Под редакц. И. М. Нусинова. Т. I. Ц. в перепл. 6 р.

А. В. Ведерников и А. Т. Кононов. Организация и методика заочного обучения. Ц. 2 р. 40 к.

В. Д. Павлов-Шишкин. Правильная речь. Сборник синтаксических и стилистических упражнений. Ц. в перепл. 2 р. 20 к.

В. Д. Павлов-Шишкин. Практическое руководство к расстановке знаков препинания. Ц. в перепл. 1 р. 60 к.

И. Р. Палей. Учись читать, писать и говорить. Ц. в перепл. 2 р. 50 к.

Беркут, Гостев, Гофнер и Попперек. Элементы высшей математики. Под редакц. Г. А. Попперека. Изд. 7-е. Ц. 3 р. 30 к.

А. М. Донде. Логарифмическая счетная линейка. Ее теория и практическое руководство к ее употреблению. Ц. 2 р. 40 к.

С. Г. Займовский. Английские тексты с примечаниями и подстрочным словарем.

1. Ч. Диккенс. Сверчок на очаге. Ц. в папке 2 р. 20 к.
2. Киплинг. М углы. Печатается.